

СУХБАТ АФЛАТУНИ

РАЙ  
ЗЕМНОЙ

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



31000037857250



Одиночество женской души на краю миров

# СУХБАТ АФЛАТУНИ

## РАЙ ЗЕМНОЙ



Москва  
2019

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
А94

Художественное оформление серии *Алексея Дурасова*

**Афлатуни, Сухбат.**

**А94** Рай земной / Сухбат Афлатуни. — Москва : Эксмо, 2019. — 320 с.

ISBN 978-5-04-100552-8

Две обычные женщины Плюша и Натали живут по соседству в обычной типовой пятиэтажке на краю поля, где в конце тридцатых были расстреляны поляки.

Среди расстрелянных, как считают, был православный священник Фома Голембовский, поляк, принявший православие, которого собираются канонизировать. Плюша, работая в городском музее репрессий, занимается его рукописями. Эти рукописи, особенно написанное отцом Фомой в начале тридцатых «Детское Евангелие» (в котором действуют только дети), составляют как бы второй «слой» романа.

Чего в этом романе больше — фантазии или истории, — каждый решит сам. Но роман правдив той правдой художнического взгляда, которая одна остается после Истории.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-100552-8

© Афлатуни С., текст, 2019

© Оформление.

ООО «Издательство «Эксмо», 2019



«Если говорить о смерти, то в естественных условиях она встречается в двух видах: мужском и женском. Оба этих вида между собой не общаются, между ними идет борьба за территорию, верх одерживает то одна, то другая сторона. Последние два столетия мужские особи обитают преимущественно в городах; женские облюбовали деревни, леса и цветущие луга; они продолжают носить традиционную одежду, чаще всего — белую; при себе имеют косу, которую используют так же как посох. Мужские особи эволюционировали гораздо сильнее: у них больше подвидов и изучены они хуже: за каждый шаг исследователю приходится платить жизнью, и не всякий рискнет на это пойти.

Картину усложняют ангелы смерти — они не относятся к царству природы и бывают посланниками из той области, которая исследованию недоступна вообще. Почему в некоторых случаях к умирающему вместо биологических уродов приходят эти ангелы, неизвестно.

...Про одну монахиню рассказывали, что она была незлобива и не имела никакой привязанности к земному. Когда при кончине явился к ней ангел смерти, стари-



ца попросила: “Не забирай меня, я и здесь всем довольна”. Она и на земле переживала рай. И ангел, вздохнув, ушел. В конце концов, Бог послал к ней пророка Давида, и тот, играя на лире, смог забрать ее душу».

Плюша глядит в окно.

Снег лежит пятнами, давно уже не белый, а такой, как пемза, которой в детстве мамуся терла ей пяточки. По полю бродят птицы. Плюша смотрит на них, иногда они взлетают и быстро садятся. А поле лежит огромное, сплошное, и темнеет. Вечер, пора думать об ужине, но встать с обогретого места тяжело, хочется еще посидеть и пожалеть себя. И Плюша глядит на поле.

Поле это еще в детстве казалось ей огромным, да и сейчас не маленьким: конца ему не видно, полю. Если подняться к Натали на пятый, то из окна на краю поля видны строения и лесок. Но с ее, Плюшиного, второго поле занимает собой все окно и не имеет пределов, кроме оконной рамы и занавесок в ромбик, которые Плюша быстро задергивает, когда включает свет. Ей кажется, она даже точно знает, что с улицы ей в окно глядят и все внутри видят. Хотя кто мог видеть ее с поля? Поле было пустым, только птицы летали над ним. Но птиц она не так боялась, чего бояться птиц.

Плюша отрывает себя от стула, делает несколько шагов и начинает заниматься ужином. Вытаскивает ледяные макароны, вылавливает помидорину, берет консервы и идет за открывашкой. Ходит Плюша осторожно, как начинающая фигуристка по льду, хотя на фигуристку она со своими ногами и халатом не похожа совсем. Но пуговички на халате перламу-

тровые. За этим она всю жизнь следит, за красотой и уютом. В детстве еще и танцевать любила, представляла себя лебедем.

За окном загорается фонарь. Значит, всё, значит, ночь, панове мои ясновельможные. Значит, Плюша задергивает занавески и включает свет.

Плюша живет в двухкомнатной квартирке.

Одна из комнат закрыта и используется как кладовка. Там старая этажерка, два ненужных, но крепких стула, ящик с ношеной и пахучей обувкой и еще мелочушка разная.

Все это можно было продать за копейки или куда-то пристроить — такие мысли у нее в голове уже бывали. Можно даже все выбросить, хотя выбрасывать жалко: и вещи хорошие, и обувочка старая пахнет по-своему. И если от всего этого освободить, то что делать с пустой комнатой? Надо тогда обставлять другим, браться за швабру, придумывать чего-нибудь на стены. А Плюше, с тех пор как перестала ходить по магазинам, а только в «Магнит» через два дома, все стало не в радость.

Что делать с этой комнатой, Плюша не знает. Когда-то берегла ее для будущей личной жизни. Еще мамуся была жива, а Плюша уже мысленно прикидывала, какие салфеточки на трюмо положит и пластмассовые цветы в вазу воткнет. Грех, конечно, при живой мамусе такими вещами в уме заниматься. Вот теперь, наверное, и наказана за это комнатой, с которой не знаешь, что делать. Даже входить в нее перестала; позвала Игната с четвертого врезать туда замок.

Тот приход Игната Плюшу немного разволновал, это был первый за долгие годы приход посторонне-



го мужчины в ее жиляплощадь. Она укрылась под видом каких-то таинственных забот на кухне. И пока он там сопел и стучал с дверью, обдумывала варианты на случай, если Игнат, с этими своими ручищами, вдруг возьмет да и полезет к ней. Но Игнат закончил дверь и ушел, а она еще долго глядела в окно и слушала сердце, а потом накапала валерьяночки. Потому что всю жизнь, во всех случаях капала валерьяночку.

Плюша зажигает свет в квартире. Не только на кухне, а везде: на электричестве мы не экономим. Пусть лучше будет свет, вот так... И вот тут. Пусть везде будет свет, а мы сядем ужинать. Королева Плюша садится за стол. Она ведь наполовину польских кровей, дворянских. А там и до королевских рукой подать, и не смейтесь там, слышите вы? Затихли, не улыбаются.

От дворянской крови у Плюши с детства проявилась нелюбовь к домашнему труду. Нет, бездельницей не была и вот так просиживать у окна стала только недавно, после того, что случилось. А так в свободное время всегда что-то делала. Читала книгу, поливала цветы, вязала или перешивала пуговицы с одного платья на другое.

В детстве, когда они еще жили в центре, любила прогулки и всегда возвращалась с чем-то интересным в карманах. С одуванчиком, например, или кедровой шишкой для мамуси, или даже простой жестяной крышечкой от пива с зазубринками, похожими на корону. Крышки от пива мамуся не одобряла: алкаши неизвестные пьют, а ты это в дом тащишь, выбрось скорее эту гадость. Но Плюша продолжала их тайно доставлять домой и складывать в секретники. Эти секретники мамуся иногда находила. «Понюхай, — подноси-

ла она их к Плюшиному носу, — понюхай, пожалуйста, как они пахнут!» И жаловалась на нее подругам: «Откуда вдруг у девочки и такие наклонности? Как будто лимонад ей не покупаю!»

У мамуси было много подруг, и всем она находила, на что пожаловаться. А Плюша почти никогда никому не жаловалась, даже Натали, несмотря на теплоту отношений. Только плакала иногда, но это уже природа так устроила, чтобы слезы у женщин текли.

Самого пива Плюша за всю свою жизнь, кстати, так и не попробовала, хотя крутом все пили, весь их дом пил. Натали, бедная, тоже пиво любила с копченой рыбкой, пару раз заносила. Плюша рыбку ела, а пиво пальцем от себя отодвигала. Если бы еще те крышечки были, золотистые с зубчиками, может, и решилась на глоточек. Но Натали таскала «пивасик» в пластиковых бутылках, и крышки тоже были пластиковые, как на воде, и где интерес? Повертев такую крышку, Плюша клала ее равнодушно на стол. А Натали улыбалась своей улыбкой: что, мол, с тебя взять, Василиса Блаженная.

Сама Натали с юности была натурой неординарной. Юбок не признавала, тяготела к брюкам. Ноги у Натали были стройные, но тощие; брюки этот дефектик скрывали. Но Натали о форме своих ног размышляла меньше всего, нравились брюки ей, и точка. В школе юбки она еще как-то выдержала, зато в техникум сразу заявила в джинсах и в новенькой, с кое-где невыткнутыми булавками, мужской рубаше. Время было еще советским, начались неприятности и беседы. Но Натали из джинсов так и не вылезла, еще и дымить





стала. Такой был у нее характер, чем больше давили, тем больше проявлялся.

Подавили на Натали, побеседовали про облик и махнули рукой: пусть на себя хоть половую тряпку напялит, раз такая. Время было уже вялое, по привычке еще чего-то боялись, чем-то друг друга в актов-ых залах пугали, но отчислить Натали не стали. Может, еще перебересится и начнет одеваться как человек. Училась она на отлично, играла в теннис и вообще со своими мозгами могла бы еще в школе два годика отсидеть, а потом прямой дорожкой в институт. Но Натали все рвалась к взрослой жизни, с зарплатой и независимостью: отсюда и техникум.

Попытались завлечь ее спортом. В техникуме был хороший, не разворованный еще спортзал. Заведовал им коренастый физрук со сложным кавказским отчеством, которого звали просто дядь Вася и уважали. И Натали этому дядь Васе чем-то приглянулась. Она вообще нравилась такому типу взрослых мужчин, ценящих в девушках не только сладкую попку и приятную глупость, но и другие аспекты. Вот этот дядь Вася и предложил ее тренировать. Другая бы обделалась от радости, а Натали запьжилась. Ей все хотелось что-то руками создавать, а не просто чтоб поскакушки какие-то; так и ответила. Дядь Вася пожал своими мохнатыми плечами и закурил. «Странная ты», — сказал задумчиво.

Странности в Натали, и правда, было много. Хотя училась на текстильном, ткани ее интересовали слабо, а больше пыльные и вонючие станки. Обожала в них ковыряться, гайки щупать: глаз был мужской. И с парнями ей легче было язык найти, о футболе, о «моти-

ках» поговорить, какие лучше. Но дальше разговоров процесс не продвигался: не притягивала к себе, магнит не работал. Ни за руку никто ее не пытался схватить и пальцы помучить, ни даже сумкой, пробегая, пихнуть. Друзей много, а так чтоб с перспективой... Даже чтоб просто на каком-нибудь дне рождения в ванную вдвоем ненадолго запереться и воду на полную громкость включить... И этого не было.

Это, кстати, ее подружек волновало, что Натали совсем одна гуляет, как Царевна-лягушка. То, что у Натали не было заметно ни парня, ни засосов, их беспокоило и даже как-то обижало. Сами они уже были опробованные, со всяким опытом. И изобретали планы, чтоб Натали скорее почувствовала себя женщиной, пока поезд не совсем ту-ту.

Идея эта всех тогда очень воодушевила. Возникло даже какое-то инициативное ядро, пару раз собиравшееся в кафе «Чебурашка». Обсуждались кандидаты из знакомых парней, кого можно было как-то подтолкнуть к Натали. Попробовали договориться с тремя старшекурсниками из техникумовских донжуанов. Двое отказались сразу; один, посерьезнее, обещал подумать. Думал месяц, то есть мозги крутил. Подруги подстроили им встречу на каком-то дне рождения; тот при виде Натали забился в самый угол, даже на танцы с дивана не слез. Зато Натали так отплясывала, соседи аж через два этажа прибежали в дверь звонить.

После этой неудачи инициативное ядро, уже не такое инициативное, но все еще желающее Натали большого женского счастья, снова собралось. На этот раз в «Бригантине», или, как пивную ту среди населения звали, «Блевонтине». Слава у «Блевонтины» была

своеобразная, по вечерам туда даже районные проститутки не любили заглядывать. По слухам, в пиво таблетки клали. Но девушки собрались там днем, скромно уселись в уголке. Знакомый официантик пообещал, что пиво будет без таблеток, высший сорт; врал, конечно.

После второй кружки к девчонкам и подсел Гриша по кличке Порох. Гриша был кого-то из них знакомый и пристроился со своей кружкой сбоку. Лицом Гриша напоминал неандертальца, а на голове, как у Пушкина, вислись кудри. Девчонки, закосев от пива, обсуждали свои планы открыто, не стесняясь. Да и Гриша вел себя тихо. Другой бы начал уже прижиматься-лапать, а этот лапал только кружку свою и губами шмякал. Тут одна из подруг и поглядела на Гришу со смыслом. Пихнула ногой другую, та переглянулась с третьей... Короче, Грише было сделано важное предложение.

Гриша молча повертел кружку, прикидывая что-то там под своими кудрями, а потом взял и потребовал за это... нет, ну вот взял и потребовал деньги. Сумма была небольшой, но девчонки, конечно, все равно возмутились. Любовь должна быть чистой и бесплатной, особенно со стороны парня, если ты мужик, а не будем говорить чего. Но Гриша стоял на своем крепко. «Не хотите — пойду скажу вашей этой... что вы тут ей...» Последовал новый взрыв возмущения, у Косиченко даже кружка на пол гребнулась, но удачно, а то бы еще и за кружку пришлось платить. Что делать? Стали девушки тык-пык по карманам, чтобы и на это пиво хватило, которое уже ясно стало, что с «химией». Жаль только, Натали, дура, жертвы их не оценит.

Гриша сгрел деньги в карман. Натали он уже где-то видал, фотка не понадобилась. Только адрес, где жила, и еще родительский. Записывали его девушки всем коллективом, с трудом выводя разбегавшиеся буквы. «Только чтоб романтично было», — строго сказала Косиченко, как самая трезвая и ответственная.

Гришка Порох не соврал. Побрившись и помазав себя одеколоном, подкараулил Натали, когда та вечером к родителям шла.

На беду, шла с посиделки и не слишком трезвая. Через то самое поле и шла.

Сама виновата, говорила Плюша. Плюша слышала эту историю от самой Натали. Как можно было через это поле идти? Да еще одной. Да еще вечером. Да еще девушке. Через него даже мужчины без надобности просто не ходят.

Говорила это Плюша про себя, а вслух молчала, чтобы не обидеть. Она, вообще, с Натали чаще молчала. Чувствовала себя каким-то большим и теплым ухом, которое только слушает и кивает. Или чай с вишней глотнет. А Натали любила адмиральский, с ромом.

...Плюша доужинала, поднялась и снова проверила занавески. Нужно новые покупать: эти совсем тонкие. А сейчас такие приборы, через все могут видеть. Если кто-то на поле стоит с прибором, то Плюша перед ним вся голая, как на ладони. А если материал толще, то это какая-никакая, но защита. Ей еще Натали предлагала жалюзи, но жалюзи — это что-то бездушное. А в занавесках все-таки есть тепло и добрая энергия.

Посудку за собой Плюша не убирает, в раковине уже целая гора. Ни посуду, ни полы, ни окна Плюша

с детства мыть не любила. Мамуся мыла, как ее только на всё хватало, тут протрет, там... Плюша пару раз тоже, чтобы мамусе сделать сюрприз, помыла что-то, подшуршала. Один раз посудку, а один раз и полы. Полы на мамусю слишком даже сильное впечатление произвели. «Плюшенька, ты теперь всегда будешь полики мыть?» У Плюши брови поднялись. Особенно обидело ее это «всегда». В ведре всегда тряпку отжимать? Грязной водой всегда руки гробить? Нет-нет, Плюша себе другие домашние обязанности придумала. Тоже, между прочим, трудные. Она украшала дом.

Тяга к искусству проснулась в ней рано. В семье читали мало, предпочитая телевизор, но было и три альбома с репродукциями. Плюша клала альбомы на живот и развивала по ним вкус и любовь к прекрасному. Картины эти она знала наизусть, вместе с трудными именами художников.

Одновременно с любовью к голландской и прочей мировой живописи проснулся и ранний интерес к рукоделию. Исследуя шкаф, Плюша отыскала пальцы с заготовками, мамуся когда-то увлекалась. Вышивание тоже сделалось Плюшиной любовью: вначале обычным крестом, потом болгарским; сперва по заготовкам, потом по фантазиям. Сколько накидочек, наволочек, салфеточек вышила она вот этими вот руками и раздарила родственникам и духовно близким людям... И для дома, и для мамуси. Даже папусе несколько раз дарила, но мужчины такие вещи не чувствуют. Тем более ее папуса, который... Не будем, не будем; вечная память, и точка.

Плюша глядит на раковину, на тарелки с засохшими остатками еды и на чашки с патокой. Предлагала

ей Натали посудомоечную машину, но Плюша как-то не доверяла технике: не на то нажмешь, и всё. «Лучшее — враг хорошего», как мамуся всегда говорила. Хотя мамуся бы нынешнюю ее раковину, конечно, не одобрила. Встала бы, как мученица, и начала бы эту гору мыть.

А Плюша с детства грязи не замечала. Ни грязи, ни пыли на полках, ни пятен на платьях и блузках, ни желтоватых разводов на трусиках. Это потом пришлось это все замечать и как-то бороться. А в детстве и юности Плюша порхала в мире прекрасного, среди вышивок с собачками и картин всемирно известных мастеров.

А какие она бусы в младших классах мастерила! Желуди на нить нанизывала и, не переставая, дарила мамусе. На, мамуся, носи, родная. Еще из растопленного воска кругляши, и тоже на нить, и тоже все ей, мамусе, чтоб всех краше была. Пузатый шиповник, как заалеет, рвала, и на бусы. Каштаны с каникул привезла, долго любовалась, о щечку терла. Тоже бусы из них наделала. Одну нить только каштаны, а вторую с желудями.

Требовала, чтобы мамуся все это носила, для чего тогда она старалась, палец два раза уколола? Мамуся терпеливо носила, но только дома. На работу если и наденет, в подъезде быстро снимет, и в сумочку. Плюша ее за этим обманом застигла. Отобрала у нее все свои бусы и со второго этажа с детскими проклятиями выкинула. Пусть другие мамуси подбирают и носят. Потом что-то сама подобрала, в секретик спрятала. Нашла через много лет, мамуся уже слегла когда. Каштаны сохлись, и желуди время не пощадило. Только три нити восковых бус, когда помыла, —

как новенькие, надевай и носи. Одни на мамусю наде-  
ла, когда та уже говорить не могла и сопротивляться,  
в этих бусах ее и отпели.

Постояв в воспоминаниях у раковины, Плюша ре-  
шает заняться мытьем завтра. А сегодня... Телевизор?  
Нет, телевизора Плюша не держала. Был когда-то, сло-  
мался; спокойнее стало. Ни тебе человеческих жертв,  
ни девиц с силиконом. Какое-то время мертвый теле-  
визор еще побыл в комнате, Плюша раздумывала, ку-  
да определить с телевизора фигурку снегиря и салфе-  
точку, накрывавшую экран. Салфеточку перенесла на  
книжную полку с классикой, а снегиречка на подокон-  
ник, где виднелась ветка березы, вот он будто теперь  
на ней сидит, если подключить воображение. А теле-  
визор отдала в починку, а потом в одну нуждающую-  
ся семью, пусть он теперь им про жертвы показывает.

После той встречи на поле с Гришей Натали день  
отлеживалась и прокурила всю комнату. Постарал-  
ся, сволочь: весь нижний этаж болел. Но долго горе-  
вать над сюрпризами, которые подсовывала ей жизнь,  
Натали не любила: говорила свое: «Танцуем!» —  
и принимала ответные меры. Через неделю уже ходи-  
ла в секцию карате; они тогда полезли, как после до-  
ждя. Но эта была без дуриков, физрук дядь Вася по-  
советовал.

Походив туда полгода, почувствовала себя вполне  
готовой. Гришу она давно вычислила: не так много на  
районе парней с такими кудрями вертелось. Да и морду  
его тогда, на поле, трезвой половиной мозга сфоткала.  
Короче, теперь уже она сама Гришку караулила. И до-  
караулила. Жаль, не на том же самом месте, но и так все

неплохо прошло, Гришуня без сознания возле борщевика валялся. Был у Натали еще один замысел: лишить его того места, которым он ей тогда больше всего обиды причинил; даже ножик складной заранее заточила. Но, брезгливо повертев что-то теплое и жалкое, раздумала и натянула штаны Гришуне обратно; тот только глаз затекший приоткрыл и снова закрыл.

Потом он еще месяц выкарабкивался в больнице. Натали ментам не сдал, сказал, хулиганы, какие — не помню; вопрос закрылся. Натали берег лично для себя, только и дышал в больнице ею, даже поправлялся, сволочь, быстро, так не терпелось снова с ней пообщаться.

Вышел из больницы и сразу занялся этим делом. На собственные силы не рассчитывал, собирал группу. Всех обстоятельств перед дружками не раскладывал: подговорить на телку всем скопом непросто, тут тоже были понятия, чего можно, а чего других дураков ищи. Сочинил им что-то про нее, недаром же кудрявый.

Натали, кстати, тоже дорогого Гришу не забывала, продолжала ходить на карате и орать «ити, ни, сан». Но тут как раз приземлилась неудачно, еще и выпускные подкатили. Переехала в новую комнату, в центр, там считалось спокойнее.

Гришку, конечно, центр не остановил. Подкараулили ее по новому месту жительства, от подружки поздно шла, с которой к экзамену готовилась. Должны были сперва ее чем-то тяжеленьким сзади и потом передать в руки Грише, у которого была для Натали своя программа. В общем, если бы Гришины планы тогда сбылись, осталась бы от Натали одна инвалидность, и то в лучшем случае.



Но у Натали чуйка вовремя сработала, перед самой засадой давай, прихрамывая, бежать. Надо было ей, балде, конечно, сразу на Буденного, там даже ночью какая-то жизнь, а она — дворами-переулками. Спасло, что смогла непонятно как влезть на дерево, старую липу. Гришкины придурки пробежали внизу мимо, потом обратно и разбрелись, перематюгиваясь в темноте. Натали выждала среди веток, пока все уйдут, попыталась слезть, и не смогла, боль адская. Осталась куковать на дереве, зато живая.

На утренней заре нащупала в джинсах спички, закурила. Заблестела внизу лысина: мужичок какой-то заинтересовался летевшим сверху пеплом. «Что сидим?» — сделал ладошку козырьком. «Рассвет встречаю», — сплюнула Натали в сторону. Мужичок оказался человеком: вернулся, тарыхтя по асфальту стрелянкой.

Этого рыцаря с лысиной Натали всегда вспоминала с благодарностью. Жалела, что даже имени не спросила, молодая была.

Жить, однако, стало так, что из дома нос не кажи. Техникум кончила на пятерки, а вместо радости — одни нервы.

В один из таких дней Натали, вернувшись из хлебного, обнаружила у себя незнакомого парня. Стоял парень возле этажерки и по-хозяйски разглядывал ее книги, как раз пролистывал Толстого. Пустила сожительница по квартире, дура, был же уговор, чтоб ни-ни, никого. Натали положила булку хлеба на стол и изготавилась дать отпор.

— Антон, — парень сунул Толстого обратно. — Гришин брат... Старший.

Ну да, одно лицо с Гришей. Только кудри спокойнее и взгляд не такой нагло раздевающий. Тоже, конечно, наглый, но в пределах нормы.

— Я в курсе. — Антон присел за стол, заскрипев стулом. — Садись поговорим.

— Не в гостях, постою как-нибудь.

— Чисто у вас...

Натали хмыкнула. Чистоту она, и правда, поддерживала. Пошкрябать пол или пыль снять с полок — без вопросов, танцуем...

— Я, короче, — сказал Антон, — в курсах того, что он тогда с тобой сделал. И что ты с ним потом... Это мне сам рассказал. Ну и насчет последнего тоже.

Он глядел на Натали и поигрывал губами, точь-в-точь как сволочь Гришка. Но как-то аккуратней, солидней.

— Короче, — закончил свою губную игру. — Пришел сказать, что больше он не полезет. Я с ним поговорил.

Скрипнул стулом и поднялся.

— И ты к нему, — добавил, — тоже не лезь.

— Нужен он мне!.. Есть хочешь? — спросила вдруг Натали.

— Нет. Два пирожка сюда по дороге съел, с капустой.

— Понятно... — Натали машинально отошла от двери, пропуская Антона.

— Вот если, — остановился, — только пить...

— Квас пойдет?

— Лучше воды. Обычной.

Шумно заглотал, слил остаток на ладонь и примочил кудри. Кудри сразу заблестели, а по щербатому лбу

поехала крупная капля. Натали отчего-то на нее загляделась. Антон попрощался и стал враскачку спускаться по лестнице. Одна нога у него была короче другой.

Плюша знала эту историю. Знала и восхищалась Натали, ее выдержкой, ее умением общаться с мужчинами. Проводить с ними нужную линию.

Сама она ничего этого не умела. Только чувствовать и отзываться.

Плюша смотрит в монитор, теребит мышь, пытается направить бестолковую стрелку. Натали дарила ей коврик для мыши, но Плюша куда-то его задевала, может, в ту комнату, которая теперь на замке. Связала коврик сама, но хитрая мышь ездить по нему не хотела.

Устав воевать с техникой, Плюша снова проваливается в воспоминания.

...Плюше одиннадцать лет, мамусе тридцать семь с половиной. Заметив в дочери тягу к прекрасному, а может, просто устав от ее желудевых бус, мамуса отдала Плюшу в изостудию. Изостудия была при Дворце пионеров, второй этаж; руководил ею знаменитый Карл Семенович. У Карла Семеновича были офицерская осанка и большие ладони, а головой был похож на Деда Шишковика, которого Плюша мастерила в школе на уроках рукоделия.

Раз в неделю, по средам, дети шумно поднимались по ступеням, прижимая папки с заданиями. Вход в изостудию был налево от лестницы, внутри пахло краской, гипсом и сыростью. Это был большой, огромный, как казалось Плюше, зал; по углам стояли повернутые к стене картины и муляж человека на шар-

нирах. Еще были пыльный скелет, с которым мальчики норовили поздороваться или нацепить на него шапку; Плюша в его сторону старалась не глядеть. Когда глядела, чувствовала щекотку в одном месте и делалась красной, как пионерский галстук, который мамуся ей раз в неделю стирала и гладила.

Поздоровавшись с Карлом Семеновичем, дети развязывали тесемки на папках и раскладывали на полу задания. Задавали обычно одно и то же: две композиции и пятнадцать набросков. Композиции нужно было рисовать («писать», как Плюшу сразу же поправили) гуашью, а наброски — карандашом «эм» или «два эм». Карл Семенович вышагивал по оставленной среди разложенных листов тропинке и делал замечания.

Мамуся, прежде чем явиться к Карлу Семеновичу с Плюшей, отыскивала каких-то общих знакомых. Долго передавала ему от них приветы, Карл Семенович кивал и темнел. На нем был светлый галстук; на голове, пряча бугристую лысину, берет. Были показаны Плюшины рисуночки и даже восковые бусы, на которые Карл Семенович поморщился. Рисунки его немного заинтересовали. Это были срисованные Плюшей картины ее любимых великих художников.

— Рембрандтом увлекаетесь? — поглядел на Плюшу. К детям он обращался на «вы».

Плюшенька кивнула. Да, она очень любит Рембрандта Харменса ван Рейна... Великого голландского живописца...

Плюша была взята без охоты и с испытательным сроком.

Вскоре все с ней стало ясно. Даже самой Плюше.

Она не могла рисовать. Срисовывать с чужого худо-بدوно получалось. А самой, на пустой бумаге... никак. Часами просиживала перед листом, боясь тронуть его карандашом.

Какое-то чувство ужаса перед белой пустотой. От переживаний у нее началась сыпь под школьной формой.

Иногда кто-то соглашался помочь Плюше, провести несколько первых линий. Появлялся за спиной кто-нибудь из тихих помощников Карла Семеновича: сам он не рисовал, был искусствоведом, профессором местного института.

Плюша тихонько дорисовывала остальное, поглядывая из-под челки.

Через полгода Карл Семенович поговорил с мамусей.

— Но она так любит искусство... — пыталась возразить мамуся.

— Вот и пусть любит дальше. — Карл Семенович поднялся. — Есть много способов любить искусство, не принося ему этим вреда. Станет музейным работником, например.

Мамуся спустилась ватными ногами по ступенькам. На улице, вертя старым зонтом, ждала Плюша. Мамуся пересказала Плюше беседу, и они пошли по лужам на автобус.

После ухода из изостудии в Плюшиной жизни возникла пустота. Ей стали сниться белые листы бумаги. Один раз приснился тот самый скелет; на черепе сидела пушистая шапка, а из глазниц текли слезы.

Спасали тайные танцы: запиралась у себя, натягивала шпитуку из тюля юбочку-разлетаюку, тяжело под-

прыгивала и чувствовала себя Майей Плисецкой. Тихонько дрожали стекла в шкафу.

Плюша окончила школу с двумя тройками и поступила в Театральный институт.

К тому времени они уже жили здесь, вот в этом доме.

Их прежний деревянный на Свердлова снесли. Снесли не сразу: дом долго стоял пустым и черным, и Плюша приезжала к нему поплакать, погладить бревна, но внутрь заходить боялась. Как все пустые дома, он не был пустым, в нем кто-то ругался женским голосом и гремел бутылками. Плюша стояла возле дома, плакала и кусала холодный пирожок.

Папуся от них ушел как раз с переездом. У него обнаружилась еще одна семья, где его тоже ждали по вечерам, ставили перед дверью тапки и готовили его любимые макаронны по-флотски. Там у него тоже было свое кресло с протертым ковриком, свое полотенце и еще одна дочь, почти ровесница Плюши. Стало ясно, почему он ночевал дома не каждый день, а выборочно. Эта вторая семья жила недалеко, мамуся о ней знала все, но таила из педагогических соображений. Теперь, с переездом, папуся вначале стал задумчивым, а потом начал перевозить часть упакованных вещей, но не на новую квартиру, а туда, во вторую семью, которая теперь стала первой. С новой квартиры ему было тяжело добираться до работы, автобусы ходили нерегулярно и набитыми. А он уже был в возрасте: сердце.

Это и правда был край города. Это и теперь почти край. Город за эти годы быстро расползся на юг, немного на восток, в заречье; Плюша там давно не бывала, но слышала. Даже в бывшей промзоне, в северной части, выросли многоэтажки, раскрашенные в попутайные

цвета. А вот их, «западников», все это не коснулось, обтекло стороной, особенно их район, с полем.

Еще когда дом их только заселялся, на поле начали рыть котлован под новый. Потом яму, которую успели вырыть, засыпали обратно. Поле снова очистилось.

Причину этого Плюша тогда не знала. И почему поле их звали иногда Мертвым полем. Знала ее мамуся, но мамуся оберегала Плюшину психику и молчала, а если говорила, то на другие темы.

А Натали?

Натали эту историю, конечно, знала. Никто ее не оберегал, и сама она себя ни от чего не оберегала. Родители ее получили квартиру на пятом, и она там тоже была прописана, для большей жилплощади. Но жила отдельно и бывала у них редко. Зайдет попьет воды на кухне и уйдет. Дом ей не нравился, и все вокруг ей там не нравилось. А на поле, вообще, та встреча с Гришей произошла.

Гриша, кстати, после того раза, как к ней его брат приходил, исчез из жизни Натали. Как-то даже скучно стало. Сдала выпускные, устроилась на фабрику. На фабрике первое время было интересно, пока опыта набиралась. Появились, как всегда, друзья-мужчины, сразу почувявшие в Натали своего парня. Но без сволочи Гриши все равно было как-то не то. Какой-то азарт из жизни ушел, скучно ходить по улицам стало. Попробовала читать философию, почитала, плюнула: не ложились ей на душу эти абстракции. Перечитала третий раз «Войну и мир».

На фабрике Натали двинули в профком. От комсомола сама отмахнулась, он ее еще по техникуму до-

стал, когда с джинсами призывал к совести. А на профсоюзной линии почувствовала себя в своей тарелке. Можно и людям помочь, и с начальством ругнуться. Тут как раз и перестройка подвалила. Натали поставили в очередь на жилье и повесили на стенд. Этот стенд и коридор, выкрашенный под дуб, помнились долго. На фотографии там она была в короткой своей стрижке, без косметики, только над бровями ради доски слегка поработала, чтоб не торчали. В жизни ей было с высокой башни плевать, что у нее и как торчит.

Карате бросила, решила попробовать парашют. Попробовала — понравилось: и риск, и новый какой-то взгляд на мир. Сразу стала яснее философия, которую до этого чуть не по слогам разбирала. Но перечитывать не хотелось, чтобы этого нового понимания не испортить.

Эти полеты и упругий воздух ей тоже долго помнились. Когда ночевала у Плюши, дергала иногда во сне руками и лягала стоявший рядом шифоньер. От звона Плюша просыпалась и таращила глаза. А Натали рвала кольцо парашюта и подбрасывалась вверх, так что диван вздрагивал. И зависала на стропах над их микрорайоном, над узкой дорогой, соединявшей его с городом, и полем, казавшимся отсюда, с высоты, и не таким уж огромным.

Плюша снова стоит у раковины.

Вынимает отмокующую тарелку, глядит на нее, кладет обратно.

Подходит к окну и осторожно раздвигает занавески.

Поле уже совсем погасло и слилось с небом. Только належни снега немного угадываются. Плюша склады-



вает три пальца и крестит поле. Спите, мои хорошие, спите... Рот ее улыбается, становятся видны не только зубы, но и десна.

Плюша вспоминает, как поступила в местный Театральный институт, на отделение музееведения, как раз открыли в нем тогда такое, экспериментальное.

Институт находился там же, где и теперь, в особняке на Первомайской. С одним львом у входа, на месте второго клумба с окурками. Здание было звучащим: пело, читало монологи и разыгрывало гаммы, шумело и взрывалось хохотом на переменах. Мамуся подарила к поступлению новый плащ, Плюша потихоньку осваивала косметику. Бусы она носила из желудей. Потом, почувствовав взгляды, перестала.

Плюша ходила на студенческие выставки. Своего мнения у нее еще не было, и она таинственно молчала, поигрывая желудевыми бусами. Иногда у нее в голове появлялись кое-какие мысли, она записывала их в блокнотик.

Но главным был не особняк, не запахи и даже не лекции, которые Плюша слушала рассеянно, больше думая о своем. Главным оказался Карл Семенович, тот самый. Из изостудии он к тому времени ушел: возраст, здоровье, приходилось экономить силы. Это он сообщает ей потом, когда она делается его ученицей.

А тогда, осенью, на первом курсе, он просто открыл дверь и вошел в их аудиторию. Плюша, сидевшая, как всегда, вся в своих мыслях, как-то сразу стряхнула с себя все это облако и подобралась. Подняла голову с тетрадки, сложила перед собой по-школьному руки. И все остальные тоже как-то подобрались. Остальных, правда, было не так много. Еще семь девиц и юноша

Максим, чьей мечтой, как он сам признался, было пописать в женском туалете.

Карл Семенович начал переключку. Нет, никого не «перекликал», а просто знакомился, присев на стул и слегка подшучивая над фамилиями. Плюшу он сразу не вспомнил.

— Полина Круковская? — Карл Семенович качнул ногой и спросил что-то непонятное.

Оказалось — понимает ли пани по-польски.

Плюшенька не «разумела». Из иностранных языков у нее значился только «английский со словарем», как писала в анкетах. Что значило это «со словарем» и как словарь этот выглядел, представляла себе плохо. В голове сидело несколько стишков, которые они с мамусей выучили в школе. «Пуси-кэт, пуси-кэт...» Читала их с выражением.

Карл Семенович разочарованно моргнул и продолжил переключку.

Он считался одним из лучших советских специалистов по живописи барокко. В институтской библиотеке можно было заполучить брошюру со списком всех его книг и статей. «Неполная», — презрительно говорил Карл Семенович. Но в последние годы публиковал мало: здоровье, глаза.

Когда он первый раз приобнял Плюшу, ее испугал резкий запах табака и старости. И защекотало там же, где в изостудии. Но отстраняться не стала. Карл Семенович возлагал свои ладони на многих первокурсниц; что-то вроде «посвящения в студенты». Точнее, в «студентки».

Рядом с собственными Плюшиными мыслями в блокноте стали появляться мысли Карла Семеновича.

«Мы восхищаемся... потому что многое не сохранилось. Если бы от Античности сохранилось больше, если бы... и финикийское искусство того времени, и... то, может, мы бы и не так...»

Он говорил не очень быстро, но Плюша все равно не успевала. Писала она с сопением и перерывами на покусывание и посасывание ручки.

«Восхищение в науке происходит от недостаточного знания. Но без восхищения наука была бы мертвой».

Он читал им «Введение в науку». Тетради с его мыслями до сих пор хранятся на висячей книжной полке, рядом с ее соломенными мишками.

Плюша стоит и думает. Хотя можно сесть и думать сидя, так было бы удобнее. Но Плюша все стоит, то утекая в воспоминания, то вдруг до болезненности, до миллиона впивающихся в нее иголок воспринимая кухню, лампу и шорохи. И тяжелые удары капель из крана. И хруст отдаленной машины по мерзлой дороге. И соседские шаги над головой.

Когда с ней раньше, еще при Натали, случались такие минуты, она открывала рот и, немного подержав его открытым, звала Натали. Иногда Натали сама все понимала по застывшей Плюшиной фигуре и открытому рту, подходила к Плюше и брала ее за плечи: «Ну что? Что? Опять?...» Плюша даже не кивала, а просто моргала и дергала губами в знак согласия. «Ну, ванну иди прими. Пустить тебе воду? Горячую ванну... с израильской солью...» Плюша мотала головой: она боялась ванны. Там можно обжечься водой, можно глубоко задуматься и утонуть. Она представляла, как

ее, толстую и скользкую, будут вытаскивать из ванны, и мотала головой.

Натали обнимала ее и прижимала к прокуренной кофте. Давай уедем куда-нибудь, давай уедем, где тепло... В Таиланд. И делает глубокий вдох. Ворсинки липнут к мокрым губам.

— Таиланд? — переспрашивает Натали. Они все еще стоят, обнявшись, под лампой. А может, уже сидят на кухне. Натали, как всегда, жарко, она просит открыть хотя бы форточку, чтобы был воздух.

Плюша неуверенно называет еще Малайзию, но форточку не открывает. Сквозняки — это смерть.

— Ты же плавать не можешь, — напоминает Натали. Она, Плюша, будет просто на пляжике...

И она уже почти видит себя на пляже, в белом песочке, обтекающем ладони и пяточки. Будет смотреть, как Натали плавает. Плавает Натали красиво, как птица. Натали молчит, прикидывает.

— Ты ж знаешь, не люблю жару... Уф! Давай форточку откроем? Ты теплый свой накинешь...

А можно, где не жара. В Польшу. В Краков...  
Форточка остается закрытой.

А в тетрадке с мыслями появлялись все новые записи. Уже почти без пробелов.

«Барокко было последним великим стилем. После него... топтание на месте. Это был стиль аристократизма, религиозного аристократизма. Это был протест против плебейского, лавочного духа Реформации. Который все упрощал, все сводил к самому необходимому, к минимуму. Сажал искусство на паёк. Протестантские храмы такие скучные поэтому, и дворцы.

Их строили, считая каждую копейку. В этом была сила протестантов, там умели считать. Им не было дела до аристократизма: аристократов они ненавидели. Любить их было, конечно, не за что: аристократия вырождалась... Видно по портретам: физическая дегенерация, хотя художники льстили и пытались ее скрыть. Аристократия уничтожала сама себя. Но смогла взять последний реванш, имя ему было барокко. Это был фейерверк, рассыпавшийся по всей Европе и долетавший до испанских колоний Латинской Америки, до португальских колоний Индии... Даже до России, его принесли вначале, кстати, поляки. А потом все погасло. На место аристократа приходил бюрократ — по сути, тот же лавочник со счетами... Это как в "Гамлете", великой барочной трагедии. Аристократия исчезает, все мертвы, все убиты, остается только этот торгаш... Ослик...»

Карл Семенович сказал: «Озрик», но Плюша писала, как слышала.

К первой паре она обычно опаздывала, автобусы ходили переполненные; чужие люди мяли Плюшу и дышали ей в уши и затылок.

На курсе Плюшу не любили за старомодный плащ, за булочки, которые жевала на переменке, за то, что не интересовалась журналом «Бурда».

В конце первого курса ее посетило горе. Умер папа, папуся... Привыкший жить на два дома, на две семьи и сам себя этой привычки лишивший, он не выдержал. Устоявшийся ритм, ритм равномерного его колебания между двумя женщинами, был нарушен, и сдало сердце.

Ни у Плюши, ни у мамуси не оказалось черных платьев, пришлось срочно покупать; в спешке купили, ко-

нечно, не то. Ездили попрощаться, дверь открыла Плюшина копия с неприятным голосом, папузина вторая дочь. Вторая жена спряталась в другой комнате, чтобы избежать общения. Было несколько знакомых, но, когда мамуся села поплакать, к ней никто не подошел. Одна Плюша стояла рядом и все не знала, куда деть гвоздики; положила рядом с гробом, они тут же свалились на пол. Папуся лежал некрасивый и чужой, и Плюша стеснялась на него смотреть. Ей было обидно, что он умер без нее и без ее участия и каких-то важных слов, которые она обязательно бы придумала и произнесла ему. Можно было и сейчас что-то сказать, но новое платье сидело плохо, и по ногам гуляли сквозняки. А еще она услышала чужую речь и узнала ее: на кухне говорили по-польски. Мамуся, поплакав и высморкавшись, поднялась и сжала губы, и Плюша тоже, из солидарности, поджала губы. Они с мамусей решили не ехать на кладбище; никто их, правда, туда и не звал.

С того дня Плюша заинтересовалась своими польскими корнями.

Дома книг о Польше не было, узнавать в библиотеке она стеснялась. Оставалось проконсультироваться у Карла Семеновича, когда он следующий раз ее приобнимет и спросит о студенческом житье. Но Карл Семенович все не обнимал, а просто так вот подойти и заговорить с профессором на постороннюю тему... Наконец Плюша придумала способ. Связала кружевную салфетку и, подкараулив Карла Семеновича после пар, решительно ему ее преподнесла.

Карл Семенович был тронут и тут же, конечно, приобнял. И не за плечо, как обычно, а пониже, в сто-

рону талии. И снова у Плюши всё защекотало, и сердце застучало так, что даже ноги в туфлях почувствовали этот стук. Набрав воздуха, Плюша задала томивший ее вопрос.

Они шли по Буденновской, профессор предложил заглянуть к нему. Это было недалеко, день был сухим. Плюша помогала Карлу Семеновичу идти, боясь, что от близорукости он наскочит на столб. Постепенно осмелела, стала брать его в опасных местах за локоть и предупреждать шепотом; ему это, кажется, нравилось.

Карл Семенович жил в двухэтажном доме стиля классицизм или модерн: в стилях Плюшенька была еще нетверда. Два небольших балкона поддерживали полутолые пыльные женщины с выпученными глазами. В подмышке у одной темнел мох.

Поднялись на второй этаж; дверь открыла крупная дама с зализанными волосами и в переднике. «Знакомьтесь, — сказал Карл Семенович, — пани Катажина, моя экономка». Плюша уставилась на нее: живых экономок она прежде не видала. «Да можно просто Катя», — отвечала та и принялась помогать Карлу Семеновичу освободиться от плаща. Плюша тоже стала расстегиваться и пританцовывать, снимая туфли. Пани Катажина предложила ей воспользоваться рожком.

Потом они обедали каким-то загадочным супом; Плюша сжимала тяжелую серебряную ложку и боялась что-то съесть неправильно. Косилась на неестественно тонко нарезанный хлеб. «В нашей семье, — говорил Карл Семенович, — хлеб нарезали так, чтобы сквозь него можно было увидеть ратуш...»

Плюша не знала, что такое «ратуш», потела и улыбалась.

На второе подали рыбу, Плюша отказалась. Дома мамуся сама чистила ей от косточек и подкладывала в тарелку, а тут спасения ждать было неоткуда. Пока Карл Семенович чинно, по-профессорски, ел рыбу, она докусывала тонкий хлеб и разглядывала обстановку, мысленно подыскивая место для своей салфеточки. По стенам бугрилась лепнина, и мебель тоже была какой-то изогнутой. Из серванта поблескивал сервиз. Барокко, думала Плюша.

Чай Карл Семенович велел сервировать в его кабинете. Домработница Катажина убрала посуду, выразив сожаление, что Плюша не попробовала ее заливного судака.

Они вошли в кабинет. Здесь резко пахло старыми книгами. Карл Семенович усадил Плюшу на диван; сам сел на стул, предварительно сняв с него стопку бумаг.

— Вы спрашивали о Польше... — обвел костявой рукой кабинет. — Вот она!

В дверь аккуратно постучали, Катажина внесла поднос с липовым чаем.

Поляки жили в городе давно, с девятнадцатого века.

Первые были сосланными после своего неудачного восстания. Жили узким обществом, страдая от сурового климата и нечистоты на улицах. Некоторые, особо тонкие, от этого быстро спились, положив начало местному польскому кладбищу. Другие привыкли и принялись потихоньку сеять европейскую культуру, школы, больницы и музыкальные вечера.

Прибывали и другие сыны Польши, уже добровольно: коммерсанты, гражданские инженеры, циркачи и ли-



ца без определенных занятий. Держались все еще замкнуто, своим польским кругом. Некоторые, впрочем, из-за нехватки полек, женились на местных девицах, плечистых и непритязательных. Но и породнившись с туземцами, не забывали, кто они, а кто остальные.

Особенно много прибыло из Польши при последнем царе, когда в городе решили развивать промышленность. Появились польские рабочие, польские социалисты и польские подпольщики. Община выхлопотала разрешение на строительство костела и выстроила его пред самой революцией...

Город, в котором Плюша до сих пор бездумно жила, вдруг стал наполняться новым смыслом. Она брала у Карла Семеновича книги и оборачивала их вместе с мамусей в хрустящую кальку. Что касается местной истории, Карл Семенович сам ей рассказывал. Он помнил еще польскую речь на улицах. Помнил костел открытым, с органом и кропильницей на входе; помнил воду от нее на своих детских пальчиках. Костел и сейчас открыт, но теперь в нем помещался музей. Плюша была там еще сонной школьницей, теперь сходила осознанно. Побродила по залам, постояла возле чучел птиц и бледно освещенных стендов.

Поляков, судя по рассказам Карла Семеновича, в городе было много-много. Больше тысячи. Куда они все исчезли?

— Уехали, — быстро ответил Карл Семенович. — У-е-ха-ли.

В институте всем уже было известно о ее походах в особняк на Буденновской.

«В тихом омуте черти водятся», — услышала о себе случайно. Вспомнились черти из альбома Босха

с зелеными пупырчатыми животами. Заперлась в туалете, растирала слезы. Они думают, что она кто? Вечером нагрубил мамусе, потом мучилась этим.

Научилась есть рыбу.

Связала Карлу Семеновичу еще две салфетки. Дипломную работу она будет писать у него, у кого же еще?

Хотела взять что-то польское, но профессор, пройдясь вдоль книжных полок, величественно помотал головой: «Не надо...»

Может, она будет писать о Рубенсе? Ей нравились его женщины, и сама она чувствовала себя немного такой... рубенсовской. Белая кожа, серый взгляд, пепельный, чуть желтоватый на солнце волос. Карл Семенович похлопывал себя по лбу: думал.

— Что ж ты его не окрутила?.. — Натали доглатывала пиво, всасывала пену и откидывалась назад. Вытягивала ноги, стараясь не задеть ими Плюшу.

Плюша пила чай.

— Я бы окрутила, — продолжала Натали, глядя в потолок. — Пардон... Это относилось к бурчанию, которое раздавалось у нее в животе. Натали зевала и перебралась на диван.

А Плюша все еще сидела за столом, поглядывая на крупные пятки своей подруги. Поигрывала ложечкой. Вспоминала Карла Семеновича, кабинет его.

Как объяснить Натали с ее вот этими вот пятками, с ее манерой шумно втягивать пиво, что у нее, у Плюши, даже в мыслях такого не было... Что были совсем другие отношения. Карл Семенович ее, конечно, иногда трогал, брал за руку, но как? Как профессор, как

научный руководитель. А то, что при этом как будто сквознячок легкий кое-где пробегал, так это ведь от возраста. Возраст у Плюшеньки был уже такой, что хотелось иногда легких прикосновений, а их не было. Ребята в институте Плюшу вообще не замечали; общался с ней только Максим, ему было безразлично, с кем общаться, лишь бы только его глупости слушали... Мечту свою пописать в женском туалете Максим уже успешно осуществил, бедная Плюша стояла на карауле; теперь у него были какие-то новые мечты, еще более дурацкие. Покрасить волосы, кажется, или ногти, но не в красный, а в какую-то сложную гамму... И все это он вываливал на Плюшу и заглядывал ей в глаза. Ему не нужен был ее ответ, и сама Плюша была ему не нужна, и от этого в горле делалось горько и обидно: хотелось, чтобы он случайно взял ее за руку... Или оказаться с ним утром в набитом автобусе, и чтобы их прижало хотя бы на одну остановочку. Но они жили в разных районах, и в ее автобусе он не ездил.

На третьем курсе Плюша тяжело и слезно влюбилась.

Нет, не в Максика, с ним было уже все ясно. Появился другой объект, по имени Евграф. Объект играл на гитаре, носил длинные волосы, живописно мотал головой; волосы при этом тоже мотались. Роста был чуть выше Плюши, которая имела славу местной коротышки, но глядел сверху вниз и имел обо всем свое очень резкое мнение. Особенно о марксизме, который им иногда преподавали. «Я его просто ненавижу», — говорил он загадочно.

Было в этом Евграфе что-то такое, и Плюша слушала его, приоткрыв рот; во рту пересыхало. Она даже стала реже ходить к Карлу Семеновичу. Вместо этого

гуляла по дубовой аллее у института и рассеянно собирала желуди.

В общем, Плюшенька влюбилась и стала вести себя соответствующим образом.

Своих стихов у Плюши не было, писать их боялась, чтобы случайно не получилось что-то смешное и недостаточно значительное. Для выражения чувств пользовалась стихами М. Цветаевой и Э. Асадова. Переписывала их на твердую и гладкую бумагу и закладывала в двойные открытки, которые выбирала в книжном на Октябрьской. Потом в заклеенных конвертиках подбрасывала Евграфу в спортивную сумку, когда тот оставлял ее без присмотра, и наблюдала реакцию.

Евграф не реагировал. Плюшины старания и каллиграфические буквы пропадали впустую.

Она стала рассеянной, пару раз нагрубила мамусе и даже швырнула в стену тапкой. А тут еще Карл Семенович пригласил к себе и определил тему дипломной работы.

Тема оказалась неожиданной. Картина «Девушка и смерть» из их музея.

А что Натали?

Натали, лежа на диване, смеялась, когда Плюша это рассказывала. Не про «Девушку и смерть», про «девушку» Натали слушала молча: интересовалась. А насчет Евграфа не выдерживала и хохотала, дергая ногами. Смех у Натали был такой сочный, что и Плюша начинала похихикивать. Хотя ничего веселого в Плюшиной молодости не было: одно глубокое одиночество.

Натали сама до двадцати семи ходила без пары. Как раз рухнул Союз, фабрику приватизировали, она то-

же в том поучаствовала. Как сама говорила: хапнула, но по-честному. Приватизированная фабрика быстро сдохла. Натали ушла, открыла свой бизнес и на нем прогорела. Хватка у нее была, и с людьми общаться умела. Не было главного: любви к деньгам; даже просто какой-то к ним симпатии. Текло бабло, да к рукам не липло. Хорошо еще, без долгов закрылась, вчистую: могли и на «счетчик» посадить. Потом шинами приторговывала, лесом — та же история. Не чувствовала денег. Но голодной даже в черные деньки не сидела. Еще и родне подкидывала, друзьям-подругам. Шоферила. Город благодаря этому узнала, места всякие.

В двадцать шесть, проснувшись после отлучения днюхи с тяжестью в висках, задумалась. «Я стою у ресторана, замуж поздно — сдохнуть рано», — сказала отражению в зеркале, подышала на него и протерла краем ночнушки. Оглядела грудь, проверила ноги, поочередно приподняв каждую. Шлепнула себя по заду и пошла на кухню, доедать остатки праздника.

На кухне поставила чайник и стала хмуро думать о замужестве. Давно уже и родня намеки бросала, и друзья вот на отмечалове чокнулись, чтоб ей встретился «он». А этот «он» был ей сто лет в обед не нужен: сама могла и прибить чего надо, и тяжесть отнести: мышц ей собственных и мозгов хватало. Но природа сигнализировала о себе временами: родить чего-нибудь, одного или лучше двух, чтоб один эгоистом не рос.

С того утра Натали стала по-хозяйски присматриваться к мужчинам. К знакомым неженатикам, а то и к случайным седокам, кого подвозила. Зубья себе подлечила, ноги станком пошкрывала. Даже косме-

тикой прибарахлилась, но куда-то сунула и забыла куда — так и ходила неразмалеванной. Помада ей, честно сказать, и не шла, или просто клала слишком густо.

Можно было, конечно, отнестись к делу проще. Пригласить мужика на один койко-сеанс, им какая разница, жалко, что ли, все равно потом это в мусор выкидывают. Но Натали любила чистоту: чистоту и порядок. И чтобы все было законным путем, хотя законы она не очень уважала. Но тут уж рогами уперлась: или загс, или иди, сокол, гуляй.

Но даже «идти гулять» некому было: не шло, что нужно. Все шелупонь какая-то.

Когда она это потом, через много лет, рассказывала, при слове «шелупонь» у нее смешно морщился лоб. И такая получалась гримаса, что Плюша прямо видела этих мужичков, которые, как мальки на мелководье, юркали вокруг огромных и бритых Наталийкиных ног. И Плюше делалось так смешно, что она хохотала в подушку...

«Врач, советник и руководитель для супругов и вообще для молодых людей, содержащий в себе: анатомическое описание мужских и женских производительных частей, их развития, предназначения и соотношения с природою изменения: Исполнение половых отправлений: Брачная жизнь и др.»

Так называлась эта книга, читанная мною еще студентом. Название не поленился списать в тетрадь. Опус сей значился как «сочинение доктора медицины Вейса», издан был в Москве, в типографии Л. Степановой при Императорских Московских театрах в году 1859-м. В год венчания любезных родителей моих, стало быть...

Какое отношение имела типография при московских театрах к руководству супругов касательно “исполнения половых отправлений”, не ведаю. Думаю, решили попользоваться цензурным послаблением в первые годы царствования Александра Николаевича и заработать, напечатав товар, ходкий во все времена.

Но до чего простодушна, до чего целомудренна была эта книга!..

Самой страшной бедой объявлялось в ней рукоблудие; чуть ли не треть тома была о том, как сей тяжкий недуг врачевать, дабы избежать дурных последствий. Как трогательны были советы о том, как обращаться со страдающим сей болезнью! А какой наивной поэзией веяло от описания “производительных частей”! Добрый доктор Вейс представлял их в виде глуповатых домашних животных, слегка своенравных, но вполне поддающихся усмирению...

Милый, милый девятнадцатый век. Он и не полагал, какие демоны вскоре овладеют этими зверушками, а через них и их владельцами. Как распространятся и усугубятся извращения, каких страшных цифр достигнут венерические заражения. И какие последствия это будет иметь для общественности...

Вчера снова приходил З. из польской коммуны. Тайно, с оглядкой, дворами. Случай запущенный и острый, но излечимый. Главное, уврачевать дух; имел с ним долгую беседу. Просит соответствующей литературы. Эх! Опасно, но дал, и своего немного, из проповедей.

Распростившись с ним, перечитал отчего-то старые свои писания про смерть как животное существо. Фантазии это. Не сжечь ли?

Теперь пишу свой переклад Евангелия для детей. Порчу глаза, керосина нет, пользуюсь грошовыми свечками. Много ли при таком бережливом свете напишешь? А с утра темнота, и кропит, и на выход солнца надежды нет. Сходить, что ли, к ксендзу, чай попить, о материях богословских поспорить? Добрый он человек, хотя и с хитрецей. И несчастный, и пытается это спрятать, всегда чисто выбрит...»

Короче, отложила тогда Натали свои невестинские проекты: тут как раз позвали на одно текстильное СП, тоже, правда, дышавшее недолго. Но прибыль поначалу была, и пахота, и возвращалась поздно: пожрать, потупить в телевизор и вздряхнуть под него же.

Вернулась однажды, а у нее гость незванный за столом: хозяйка квартирная впустила, хотя обычно даже знакомых не впускала. Натали и не узнала сразу. Только когда он книжку отложил и приподнялся, тогда вспомнила.

Антон, того Гриши брат. Поседел... Ну и что приперся, сокол кудрявый?

— Гришу вчера похоронили, — сообщил на ее молчаливый вопрос.

Во как... Натали стала сердито выкладывать продукты из магазинного пакета. Антон наблюдал за ней.

— И что? — прервала процесс Натали.

— Тебя перед смертью вспоминал. Сходить к тебе просил.

Натали разобралась с продуктами, захлопнула холодильник и шумно уселась напротив.

— Что ко мне ходить? — поглядела жестко ему в глаза.



Антон взгляд выдержал:

— Извинение передать.

— Ну. Передал?

Хотела добавить: а теперь — гуляй...

Не стала.

Поднялась, задумалась насчет ужина. Можно яичницу соорудить... Заодно и этого накормить. Тоже, наверное, голодный: щеки вон впалые. Или это от горя? Может, от горя, и что? Жалелку, что ли, ему включить?

С ужином не ладилось. Мысли разъезжались, не хотели собираться на яичнице.

— Ладно, — Натали погасила горелку. — Пошли, что ли, куда, помянем...

Антон кивнул, точно того ждал, и заковылял в коридор обуваться. Натали вспомнила про его хромоту, вздохнула, вытерла руки и сама пошла туда. Молча оделись, обулись и вышли.

Засели в кафе по соседству. Натали лень было снова выводить машину; Антон оказался вообще «безлошадным».

Натали спросила себе солянку; подумав, добавила водку и соленья. Антон показал жестом, чтобы рассчитывала только на себя. Непьющий. Томатный сок только взял, прям детский утренник какой-то.

Выпили: она водку, он сок. Принесли пепельницу, Натали вытянула ноги, зевнула и закурила.

— Пусть земля ему будет пухом, — сказала, чувствуя, как водка начинает свое теплое действие.

Антон одобрительно кивнул.

— Улыбнись-ка, — сказала Натали.

— Чего?

— Улыбнись, говорю.

Антон настороженно улыбнулся.

— Женатый? — Натали стряхнула пепел.

Антон помотал головой: «Кому косоногий нужен?»

— А работаешь...

— Электриком. Могу сварку. Малярку разную.

Инструктором по шахматам...

Это хорошо, что инструктором, подумала Натали и снова стряхнула пепел.

Допивать графин не стала: мозги нужны были ясными. Принесли солянку.

Натали задержала ложку на весу.

— Возьми меня в жены, Антон.

Сказано это было каким-то глухим, не ее голосом. Антон чуть поднял бровь. Брови были у него густые, богатые... Но Натали бровей его в тот момент не видела: глядела в суп, где меж картошкой и мясом плавала одинокая оливка.

— Детей тебе рожу, — поиграла с оливкой Натали. — Верной тебе буду. Послушной. Пять лет гарантию даю, — прибавила для чего-то.

Подняла глаза на Антона. Тот слушал неподвижно, только губами двигал. Шлеп-шлеп. Как покойный бра-тельник.

— Хорошо. Я тебе тоже буду... — Антон запнулся. — Только одно условие...

Взял солонку и высыпал всю соль в суп Натали:

— Что ты сейчас это всё съешь.

Натали поглядела на сугроб быстро намокавшей, рыжевшей соли. Потом на Антона: очень захотелось плеснуть ему это в рожу. Сдержалась. Сама ведь идиотский разговор этот завела.

Просто встала и пошла снимать куртку с вешалки.

Антон сидел неподвижно, допил остаток томатного сока.

Натали вернулась к столику: забрать сигареты, оставить бабло, чтобы не думал...

Села.

Взяла ложку.

Стала быстро и решительно есть. Соль обжигала внутренности.

— Запивать можно? — поглядела на Антона.

Тот, приподнявшись, отнял у нее тарелку:

— Лады, не надо... Сам доем.

И быстро влил в себя остатки. Закашлялся.

Заказали потом две бутылки воды... так и не напились. Просидели до закрытия.

— Зачем улыбнуться просила? — спросил Антон, провожая ее обратно по лужам.

— Да какое-то лицо у тебя нерусское показалось.

— Поляки мы. — Антон слегка замедлил ход. —

Поляки...

Она медленно, медленно движется по лесу. Солнце, между стволами висит сладкая духота. Платье расшнуровано, снято и подвешено на ветви бука, подальше от муравьев. Внимательно, где песочек почище, спускается к ручью. Тербит пяточкой воду, чтобы проверить холодность. Затем вступает в ручей и трижды приседает, троекратно вскрикивая: «Ай! Ай! Ай!..» Остудившись, спешит на берег, к оставленной одежде. Накидывает льняное покрывальце, обтирает им плечи и прочие цветущие члены. Но... Что это? Она слышит сзади тяжелый костный стук и смрадный запах. Кто-то властно схватывает и влечет к себе... О!..

Остов с остатками гниющей плоти ласкает ее и запечатлевает роковой поцелуй. Слезы отчаяния брызжут струями из глаз; солнце, лес и игривый ручей — все темнеет, все гаснет...

Плюша открывает глаза.

Она сидит в кабинете Карла Семеновича, в своем кресле, куда он ее всегда сажает. С подушечкой.

Сам Карл Семенович полулежит в халате. На полу, на полках, на столе — книги, книги, книги. Пара ее, Плюшиных, салфеточек. На одной стоит графин с кипяченой водой, запивать лекарства. Плюша сама так поставила.

Говорит Карл Семенович медленно, с усилием. Три месяца назад инсульт перенес.

Плюша ходит к нему почти каждый день: на носу защита, диплом не дописан. Карл Семенович хочет, чтобы она шла в аспирантуру. Плюша колеблется: не чувствует в себе большой склонности к научной работе. Для науки нужно много писать, а писать Плюша не может. Может только кого-то цитировать и правильно, как научил Карл Семенович, оформлять сноски. Или записывать мысли самого Карла Семеновича, как сейчас. Да, она научилась быстро, почти как стенографистка, писать за ним... Только от привычки покусывать ручку не избавилась, а надо избавиться. И мамуся ворчит: негигиенично и взрослая уже девушка. И Карл Семенович, хоть и близорукий, а что-то чувствует, вздыхает.

Самой писать не получалось. Пугал голый лист бумаги, как в изостудии когда-то. Вся вспотеет и ручку изгрызет, пока первое слово напишет. И потом полчаса разглядывает его: какое бы второе к нему добавить. Потом возле двух слов возникало третье. Или запятая. И день так

проходит. Много разве так напишешь? Это всё придет, считал Карл Семенович. Но когда? Пока не приходит.

Почти весь диплом надиктовывает ей Карл Семенович. Иногда, правда, увлекается, начинаются разные отступления... Вот как сегодня. Плюша их тоже записывает, они даже интереснее, живее. Хотя в диплом не войдут, сразу будет видно, что это не Плюшины мысли, а ясно чьи. Только когда Карл Семенович начал описывать, как Девушка могла Смерть встретить, тут Плюша отвлеклась немного: задумалась. Точно задремала. Перед глазами картины, картины... От переутомления, наверное. Вчера до часу ночи мамусе записи диктовала, та сидела и тюкала на своей машинке. Тюк! Тюк! Потом еще уснула не сразу: полнолуние, как ни завешивай, все равно луна в глаза лезет... Свет тревожный... тревожный... творожный...

И Карл Семенович замолчал, глядит на нее.

— Может, Полина, кофе еще желаете?

А?... Плюша распахивает глаза и роняет ручку.

Нет, спасибо!.. То есть да.

Поднимает ручку и пару раз покусывает, отвернувшись: чтобы профессор не видел.

Катажина приносит чашку кофе и кувшинчик со сливками; Плюша все не приучится называть эту большую женщину Катей. Плюша смотрит на чашку и кувшинчик, внимательно смотрит и понимает, что хотела бы еще и булочку. Маленькую-маленькую. Малюсенькую... Но не решается попросить. А то подумают, что она всегда голодная и не из потомственных дворян.

Карл Семенович кофе после инсульта не пьет. Просто лежит и глядит на Плюшу.

С верхней полки падает книга и шлепается на пол. Карл Семенович вздрагивает, шерстяное одеяло, которым он укрыт, оказывается на полу, рядом с упавшей книгой.

— Не переносу, когда падают книги. — Карл Семенович пытается поднять одеяло и прикрыть им ноги в кальсонах телесного цвета.

Плюша быстро расправляет одеяло и укрывает своего научного руководителя. За время его болезни она научилась ухаживать, поправлять подушку и бегать за продуктами. Один раз даже сварила сама супчик, под руководством пани Катажины. Карл Семенович похвалил ее, назвал кулинаркой. Вечером, не выдержав, сообщила об этом мамусе — восторги.

Болезнь Карла Семеновича встряхнула Плюшу. Она слегка похудела, стала красить губы. Конечно, вначале, когда Карла Семеновича увезли в больницу, Плюша просто целый день гуляла по городу, глотала слезы, сморкалась и не знала, что делать.

Сама она при пощечине Карлу Семеновичу не присутствовала, но ей все рассказали: институт бурлил. Ни у кого не укладывалось: театровед Ричард Георгиевич Геворкян, толстый, с седыми кудрями, считался другом Карла Семеновича, хотя был его младше на пятнадцать или даже больше лет. Они еще какую-то книгу вместе написали... И теперь вдруг эта пощечина, при всех, в вестибюле: «Это тебе за «Польское дело!»» Какое еще «Польское дело»? Ричард Георгиевич — армянин, весь институт знает, хотя говорить об этом считается неприлично: его уважают... Но больше уважать не будут, Плюша уверена. Если его всё еще будут уважать, то надо что-то сделать, чтобы прекратили... У Карла

Семеновича почти сразу случился инсульт. Какие еще нужны им доказательства? Его «Скорая» увезла!

Наплакавшись и нагулявшись, Плюша решила дать Ричарду Георгиевичу ответную пощечину: от имени института. Но Геворкяна в институте больше не было: уже месяц, как уволился. А давать пощечину где-то в другом месте не хотелось.

Потом Плюша даже об этом и забыла немного: надо было ездить на троллейбусе в больницу, бегать по аптекам, думать о дипломной работе... Она даже Евграфа временно отложила. Делала закладки в книгах со стихами, но не выписывала.

Иногда, правда, вот как сейчас, когда она укрывает Карла Семеновича и поднимает упавшую книгу, у нее возникало желание спросить профессора об этой ужасной пощечине... Нет, конечно, не спросит. Врачи запретили ему волноваться. Покой, и только покой.

— Может, вы хотите булочку? — спрашивает Карл Семенович, укрытый ее руками.

Нет-нет, Плюша и так поправилась. И надо еще немного дописать...

Писать ей совсем не хочется. Хочется просто слушать Карла Семеновича. Пить маленькими глоточками кофе со сливками и медленно, до сладковатой кашицы, пережевывать булочку...

— Полнота вам идет, — делает свой обычный комплимент Карл Семенович. Приподнимается на локтях: «Катажина!»

Не надо, не надо... Плюша сама за ней сходит.

Карл Семенович послушно опускается; на лысине выпадает роса. Бедный, как он еще слаб...

Через час Плюша уходит, прихватив, как всегда, пару альбомов по живописи. В коридоре пахнет мокрым паркетом: пани Катажина трет полы.

— Мой любимый Гойя, — говорит пани Катажина, глянув на один из альбомов.

Плюша удивляется: надписи на альбоме нет.

— Когда-то диплом по нему писала...

У Кар...

— ...ла Семеновича, у кого же еще...

Потом?

— Потом? Потом — вот... — Катажина показывает на мокрый пол и на ведро.

Плюша выходит, но спускается не сразу.

Перед глазами темным пятном стоит Катажина с тряпкой. Потом Ричард Георгиевич со своей загадочной пощечиной. Под конец Плюша видит себя в лесу, голой и мокрой, и кто-то сзади обдаёт ее ледяным дыханием и тянет к себе, и тянет.

За Антоном Натали прожила семь лет. Пять лет, на которые давала гарантию, и два года сверх того. «Сверхсрочницей», как она хмуро шутила.

О семейной жизни Натали молчала, как партизанка на допросе. Допроса, правда, и не было. Плюша проявляла свою фирменную тактичность и не лезла. Кое-что сама знала.

Знала, что от Антона Натали родила Фаддея, Фадюшу, который теперь учится в Польше. Приезжал недавно, уже после всего, квартиру Натали продавать. Сказал называть его «Тадеуш» и поглядывал с подозрением.

Плюша, правда, ему отказала, когда он попросился пару дней у нее пожить. Квартиру продал, а догово-



риться, чтобы те не сразу с ремонтом начинали, ума не хватило, хотя и в Польше учится. Заявился к Плюше, как будто у нее тут прямо гостиница. Плюша бы, конечно, его пустила: диван стоял свободный или на полу можно было матрасик соорудить. Не понравилось, как просил: как будто Плюша чего-то должна. А она ему ничего не должна. И потом, он ей хоть в сыновья годился, а все-таки мужчина, западный: свободные взгляды, гей-парады, секс-шопы... Что у него там в голове творится, иди разбери. Интеллигентно, тактично, но не пустила. Ночевал в гостинице «Вокзальная».

Еще они с Натали, пока была, раза два ездили могилки проведать. Плюша все никак не могла собраться поставить мамусе памятник, так холмик долго и оставался. Листиками засыпало, птички какали. Потом Натали взяла это в свои золотые руки, договорилась с людьми. Через месяц уже стоял. Плюше он, правда, не очень понравился: оттенок у камня был какой-то холодный, не передавал мамусину теплоту и отзывчивость. И надпись на нем как-то официально выглядела, буквочки надо было чуть круглей сделать. Плюша положила цветы и, стараясь не глядеть на камень, посидела на скамейке, дыша воздухом. Натали, довольная, стояла рядом.

Потом пошли к ее Антону, первый раз тогда Натали ее туда повела. Плюша даже не поняла, куда идут, а прервать молчание боялась. Там стоял странный памятник в виде колонны с закругленным верхом. Антон, догадалась Плюша. Прочла подтверждение: «Порошевич Антон Игнатьевич», и даты. А Натали поставила ведро и принялась оттирать колонну. Плюша осторожно предложила свою помощь, зная, что Ната-

ли откажется. Так и есть, Натали сказала свое вечное: «Сама!» Плюша поискала скамейку. Заметила рядом маленький памятник. «Григорий Порошевич». Тот самый — брат, решила вначале. Поглядела на цифры, пошевелила, считая, губами: не сходилось. Получалось, всего три года жил. «Старший мой», сухо сказала Натали, почувствовав спиной ее мысли.

Натали дотерла оба памятника, большой и маленький, и стала стелить на скамейку кусок клеенки. Женщины сели. Натали достала из спортивной сумки армейскую фляжку и пластиковую коробочку. «Помянем», — вытаскивала Натали из коробочки бутерброды с ветчиной, отвинтила крышку и глотнула. Протянула фляжку и бутерброд Плюше. Коньячное тепло продержалось сквозь горло и растеклось в груди.

Немного опьянев, Плюша спросила, что же они его Григорием назвали.

— Антон хотел, — сказала Натали.

Больше ничего сообщать не стала. Собрала пакеты, отжала тряпку на мрамор и тоже убрала. Хозяйственной она оставалась даже в пьяном виде. «Будешь?» — протянула Плюше фляжку, чуть толкнув.

Плюша отрицательно вздохнула, и Натали допила все сама. Поднялась; Плюша поднялась следом.

— Спице, — сказала Натали своим памятникам. Язык ее слегка не слушался, получилось не «спите», а какие-то «спице».

Они шли по кладбищу к выходу. Натали остановилась, закурила и поменялась с Плюшей местами, чтобы той дым не лез в лицо.

— Ой, мороз, моро-оз... Не-е морозь меня...

— Кладбище, — напомнила Плюша.

Натали помотала головой и повисла на Плюшиной руке.

— Не морозь меня-а-а.. а... Я ж, ё, не ору! — Натали шатнуло, Плюша с трудом ее удержала. — Я тихо, культурно...

Плюша вздохнула и глянула по сторонам. Посетителей, к счастью, не было.

— Моего-о коня! — спела Натали и тоже вздохнула. — Знаешь, что он со мной делал?

Плюша догадалась: это о покойном.

Натали припала к Плюшину уху и что-то горячее туда прошептала. Плюша не разобрала, на всякий случай расширила глаза: да ты что...

Натали сморщила подбородок и кивнула. Резко остановилась:

— Давай вместе... Тишина на Ивановском кладбище, и деревья луна та-ра-ра...

Натали... Плюша стала гладить ее по куртке, от плеча к локтю.

— Що Натали? Що — Натали?

Когда Натали выпивала, начинала говорить с украинским акцентом.

— Но у смерти законы суровые... Що молчишь? Как это «слов не знаю»? А шо ты у дэтстве пэла?

Плюша задумалась. В детстве она любила песню про улитку.

— Но у смерти законы суровые... Ты лизнула меня в черепок!

С кладбища вышли без приключений, песен больше не было. Натали вымыла под краном ладони, освежила покрасневшее лицо. Плюша тоже пошевелила слегка пальцами под холодной струей и обтерлась платочком.

Диплом Плюша защитила на отлично, хотя чего ей это стоило, одна мамуся знала, потому что в этом участвовала. Карл Семенович тоже догадывался, глядя на исхудавшее Плюшино лицо и ее нервные движения. «Вы очень утомляетесь, — говорил, поглаживая ее по руке. — Так нельзя утомляться».

Карл Семенович звал Катажину и просил сделать для Плюши кофе со сливками: не годится, чтобы девушка так от дипломных переживаний увядала.

В ночь перед защитой был снегопад, и Плюша не спала. Она ворочалась и глядела на снежинки, бегала в туалет, гремела пузырьками, ища валерьянку, возвращалась в постель. Снег бесконечно падал, Плюша стучала зубами, не могла согреться и заснуть. Снова поднималась, сжимая живот. Выходила мамуся с полотенцем на голове, советовала принять душ. «Не надо было тебе о смерти диплом писать», — говорила в который раз, и полотенце на ее голове разматывалось и соскальзывало, открывая седоватые волосы. Плюша безразлично глядела, как полотенце падает и мамуся неловко пытается поймать его, но оно все равно падало и ложилось у мамусиных ног. «Вон ее сколько и так!» — Мамуся поворачивала голову к окну, где сыпал снег. Плюша не понимала, о какой смерти говорит мамуся, стояла, прислонясь к двери, и слушала, как холодная дверь под ее тяжестью поскрипывает. «Идем искупаю тебя...» — Мамуся вытаскивала шпильку, зажимала ее в губах и заново укладывала волосы. В ванной набиралась вода, от ее шума делалось еще страшнее, но Плюша послушно снимала ночнушку и пробовала пальчиком воду. Вода была горячая и какая-то твердая, чужая.

— Красавица... Красавица моя, — сонным голосом повторяла мамуся.

Оставь, я в этом месте здесь сама помыю...

— Красавица... — Мамуся послушно отступала к мокрой стенке, а Плюша вытирала слезы, вытаскивала из воды ногу и ставила на край ванны. В детстве мамуся выдавливала из губки ей мыльные пирожные на некоторые места, и там сразу становилось красиво. Но теперь Плюше хотелось стать подводной Дюймовочкой и спрятаться в сливное отверстие.

Утром серая и невыспавшаяся Плюша добиралась до института. Автобус скрипел по снегу, в голове было пусто, горячо и чесалось от шапки. На коленях трещали оберткой букеты, заготовленные мамусей заранее и сунутые Плюше перед уходом: один для руководителя, другой для рецензента, «не забудь», «не забудь».

Мамуся тоже хотела пойти на защиту, даже пальто ради этого загодя в химчистку сдала, но Плюша заплакалась, чтобы мамуся не ходила. Она боялась, что мамуся со своей слепой материнской любовью не там сядет, не так поздоровается или начнет вздыхать во время защиты. Мамуся обиделась, уткнулась лицом в вычищенное пальто, но осталась дома.

В аудитории, где проходила защита, было холодно; в глаза сразу бросился сидевший за вторым столом жирный Геворкян, давший ту знаменитую пощечину.

Он недавно снова вернулся в институт, отрастил бородку и читал какой-то туманный спецкурс по театру. Мимо Карла Семеновича в коридоре проходил, не видя, как мимо стеклянного предмета. Карл Семенович тоже отворачивался в сторону. Их хотели помирить.

Теперь этот ужасный Геворкян явился на защиту и еще с кем-то разговаривает вполголоса.

А Карла Семеновича, наоборот, не было.

Текст защиты Плюша знала наизусть. Стараясь не глядеть на Геворкяна и вообще никуда не глядеть, она все проговорила и замолчала. Только бы никто не задал вопросы!.. Зачитали хвалебный отзыв Карла Семеновича, который не явился по состоянию здоровья. Но Плюша похвалам не радовалась и поглядывала на Ричарда Георгиевича, который что-то чиркал в блокноте. Что? Плюша холодела. Вышел рецензент, из бывших учеников Карла Семеновича. И снова похвалы. И снова Плюша слушала их ледяными ушами, мечтая скорее убежать в туалет и отплакаться. А потом зайти в пирожковую, съесть два пирожка, один с мясом, другой с картошкой, и забыть поскорее весь этот кошмар.

— Будут ли вопросы?

Вопросов вроде не было. Плюша вздохнула, порозовела и засобиралась.

Поднялся Ричард Георгиевич:

— М-м... интересная работа. Хотел бы отметить. Поблагодарить, если так можно выразиться.

Это была манера его — говорить обрывками и прищуривать правый глаз.

У Плюши заныло под лопаткой.

— ...Большой материал... Хотя, с другой стороны... у меня вопрос.

Геворкян глянул в блокнот, потом на Плюшу. Плюша прижала к себе переплет диплома.

— ...Вы вот рассказали о работе неизвестного художника. Ну да, он неизвестен. Хранящейся в нашем музее. Неизвестного художника середины семнадцато-

го столетия. Если я правильно понял, — и снова сощурил правый глаз на Плюшу и бровь косматую изогнул.

— Да, — выдохнула Плюша.

— Девушка и Смерть... — Геворкян повернулся к остальным.

Кто-то кивнул: в городском музее хранилось мало старых картин, и эта была известной, хоть и неизвестного мастера. Ее даже держали под стеклом, в отличие от висевшего неподалеку неостекленного Шишкина...

— И картина эта поступила, как было верно замечено, из одного частного собрания. Собрания, — Геворкян зачем-то поднял палец, — Ю. Стаковского. А знает ли уважаемая... так сказать, дипломница...

— Круковская, — подсказал кто-то. Геворкян не отреагировал и продолжал, постукивая толстым пальцем по столу:

— Ведомо ли ей...

Плюша стояла, уже ничего не чувствуя, как что-то холодное и неживое.

— ...При каких обстоятельствах поступила в музей эта оригинальная картина? — закончил Геворкян и сел обратно за стол, растопырив локти.

Плюша молчала.

— Вы поняли вопрос? — спросил чей-то голос.

Плюша кивнула. По щекам ее потекли теплые капли. Они скапливались на подбородке и падали вниз на букет, тюкая по его обертке.

Тюк... Тюк...

Ее отпустили.

Плюша вышла в коридор, подошла к окну и прижалась низом живота к батарее.

Сзади подошел Максик. Поправил ей сбившийся платок на плечах:

— Хочешь ириску?

Макс был теперь блондином и носил малиновый свитер.

Из Плюши начала выходить вторая порция слез.

— Не плачь, девчо-онка... Пройдут дожди. Оргазм вернее-ется, ты только жди... — Максик пообтирался рядом и отошел.

Плюша слышала, как он разворачивает ириску и чавкает. Мог бы немного придержать свой эгоизм: видит же, как ей плохо, как ей ужасно... Проявить понимание. Но, кроме Максика, к ней вообще никто не подошел и ничего не проявлял. Так называемые однокурсницы стояли сбоку и обсуждали свои очередные глупости. А Евграфа, единственного луча в этом темном царстве, уже год не было: отчислили за то, что пришел несколько раз пьяным и что-то сказал. Плюша хотела поехать к нему по-дружески утешить и, может, даже как-нибудь спасти. Но у нее не было для этого адреса, а узнавать она боялась, и вообще, нужно было думать только о дипломе, как ее наставлял Карл Семенович.

Их позвали для объявления результатов. Плюша вытерлась, высморкалась и пошла со всеми слушать приговор судьбы.

Ей поставили пять.

— Круковская!

Плюша чуть не выронила оставшийся букет. Первый она уже вручила рецензенту, а со вторым теперь спускалась с лестницы, чтобы съездить к Карлу Семеновичу.



новичу, проведать и собственноручно поставить в вазу, которая стоит на ее второй салфеточке...

— Круковская... — внизу стоял Ричард Георгиевич и курил.

И Плюша спускалась прямо ему в лапы. Еще и фамилию ее запомнил.

Геворкян докурил.

— Не обижайтесь, — ловко послал бычок в урну. — Защита, между нами говоря, была так себе.

От Геворкяна пахло горько и неприятно. Плюша опустила глаза и стала смотреть на его огромные сапоги. Какой у него размер, интересно?..

— Карл, конечно, поработал. Его рука...

Плюше хотелось сказать, что она должна идти. Но как-то не смогла это сформулировать.

— К нему торопитесь? — снова читал ее мысли Геворкян.

Плюша кивнула и заскрипела букетом.

— Бросайте вы это все. Никакой вы не ученый, и козе понятно. Карл вам голову заморочил. Это он умеет.

Вытряс из пачки еще одну сигарету и закурил, прищурясь.

— Память у вас есть. Усидчивость, видно, тоже... — Геворкян говорил куда-то вниз, точно самому себе. — Но ученого из вас не выйдет.

Плюша неуверенно сказала, что не может без искусства.

— А оно — без вас? Может без вас обойтись? Если может, то лучше...

У Плюши снова мерзли уши, а сердце билось так, что вздрагивал букет.

— Лучше ко мне приходите работать, — сказал Геворкян вдруг спокойно, по-деловому. — Для архивной работы как раз такие нужны. Как вы.

Теперь весь тайный замысел Геворкяна стал для Плюши как на ладони. Ее хотят просто отбить у бедного, больного Карла Семеновича. Переманить к себе.

Плюша начала говорить, что ей нужно...

— Подумать? Думайте. Вот мой телефон. — Геворкян достал из кармана заранее написанный номер. На листке того самого блокнота.

Плюша машинально его взяла и начала прощаться. А то сейчас он еще что-нибудь ей предложит... Что-нибудь вообще такое...

— Кстати, — остановил ее взглядом Геворкян, — картина «Девушка и Смерть», о которой я вас спросил... А вы, естественно, не знали. Так вот, она поступила из коллекции Стаковского в тридцать седьмом году. Вам об этом Карл тоже ничего не говорил?

Плюша с неожиданной для себя злостью ответила: нет. Не говорил, — добавила чуть помягче.

Преподаватель все-таки. Неудобно.

Геворкян все же почувствовал ее злость и слегка приподнял бровь.

— Разумеется, не говорил... — Голос его зазвучал тише, но тоже злее. — Он же его сам, сука, и заложил.

У Плюши приоткрылся рот, она повернулась и, не прощаясь, пошла, побежала к выходу.

— И не только его! — услышала сзади.

Оборачиваться не стала. Может, надо было... Нет, нет, не надо. Назвать так Карла Семеновича... Ее Карла Семеновича...

В тот же день она побывала у Карла Семеновича, который оказался не таким больным, как она ожидала. Даже совсем не больным, а просто испугавшимся снега, добираться по которому ему было бы тяжело. А может, его предупредили, что на защиту собирается Геворкян, и Карл Семенович решил не подвергать себя новым потрясениям. Как бы то ни было, букет он воспринял с благодарностью, гладил Плюшу по холодной ладони и подробно расспрашивал. О кознях Геворкяна она рассказывать ему не стала. Хотя очень хотелось, просто чесалось все внутри. Но... пока не стала.

До того как поехать к Карлу Семеновичу, Плюша все же зашла в пирожковую и съела два горячих пирожка. Один с картошкой, один с яйцом; с капустой прямо перед носом кончились. И запила это все стаканом какао с шоколадным осадком, который обычно оставляла, а тут и его выпила. Нет, она ничему не верит, ни одному слову этого Геворкяна, похожего на толстую жабу.

Кстати, через десять лет именно через Геворкяна она и познакомится с Натали, которая до этого была ей просто соседка, «здрасьте — здрастьте». Но это будет уже в другой жизни. Где уже не будет никакой пирожковой, которую снесут в девяносто пятом, ни бедного Карла Семеновича, ни музееведения, а одно белое поле и неподвижные мужчины на нем...

Спите, мои хорошие... спите...

Плюша ловит себя на том, что все еще стоит у окна. Такое с ней теперь бывает, часто. Застынет и стоит. Полчаса стоит. Час.

Время течет где-то рядом, не затрагивая Плюшу.

Натали, застав ее в таком состоянии, начинала обычно тормошить: «Эй! Эй!» Щекотала. Теперь Натали нет. Нет совсем, даже на кладбище. И выводить Плюшу из этого состояния некому. Да и зачем. Ей хорошо в нем. Ей... хорошо.

А то, что время идет, так пусть идет. Плюша ему не мешает. И оно ей тоже.

Все это поле.

Полюшко-поле... Полюшко, широко поле...

Его сейчас не видеть, из-за темноты, но оно есть, там, прямо за окном. Прямо за стеклом, за хрупкой границей Плюшиного королевства, двух комнат, кухни и санузла, освещенных электрическим светом. Вторая комната, правда, закрыта, закрыта на замок, и Плюша туда не заходит. Там стоит этажерка. Там несколько приличных стульев, на них еще можно сидеть. Но Плюша туда не заходит. Там неуютно. Там нет растений на окнах. Там нет ни одной вышитой салфетки. Там... Зачем туда заходить? Не надо туда заходить.

Там тоже поле. Там оно тоже.

Поле проникло к ней в квартиру, Плюша даже помнит, когда это случилось. Потом сопоставила все сроки, все точно. От этого папуся от них сразу ушел. А не оттого, что добираться далеко и автобусы. Сразу почувствовал что-то. Польские мужчины чувствительны. Это только снаружи холодны, а внутри столько романтики, столько сердца.

Папуся приехал в город в конце пятидесятых, когда носить польскую фамилию уже было неопасно. Польша была дружественной и социалистической. Просто другого выхода у нее не оставалось, кроме как быть социалистической и дружественной. Па-

пуся устроился в конструкторское бюро и женился на двух женщинах неоформленным браком. Слова «загс» избегал. Шутил, что оно напоминает ему еврейскую фамилию.

Он первый, наверное, почувствовал. Приехал сюда до их переезда, походил по пустым, еще хранившим строительный запах комнатам. Поглядел в окна. И сказал мамусе, возвратившись вечером, что сюда не переедет. Далеко добираться, очень далеко, край света... Разглядывал при этом свои колени, сначала правое, потом левое. Мамуся знала: когда ее гражданский муж разглядывает колени, он лжет. Последнее время он глядел на свои колени особенно часто. Но тут он почти не лгал, просто сам не знал правды. Чувствовал что-то, нервничал, мял за столом хлеб. Под конец исчез в другую, запасную семью.

Он был первым из мужчин, бежавшим из их дома.

Потом в их доме было еще два развода, вскоре после переезда. Один в их подъезде, другой во втором. Их обсуждали старухи, которые тогда еще грелись на лавочках у подъезда, долгие летние старухи, обсуждали долго, с подробностями. Теперь лавочки стоят пустыми, новое поколение старух, дочери и невестки прежних, той общительности не имеет. Сидят себе по квартирам, мутно уставившись в телевизоры, или кормят своих кошек химическим кормом.

А тогда, в те времена, жизнь на скамейках была ключом. Все события в доме тут же делались известными, как и те разводы в двух вроде бы положительных семьях. Один из мужей, правда, был пьющий, но и тут его никто не понял: жена работала на винзаводе, следила, чтобы муж брал в рот только то, что она сама с заво-

да тайком выносила... За такую жену зубами и руками держаться, а он собрал от нее вещи — и в дверь.

Потом было еще несколько разводов в их доме, прямо после свадеб. Смертей несколько, опять же мужских; женщины держались крепче. А кто не уходил с чемоданом и не умирал, те спивались. Тихо, не тревожа окружающих, а между запоями бывали просто милые люди. И сумку донесут, и уют починят: только намекни. А намекать Плюше и мамусе, пока была жива, приходилось часто. Руки у обеих росли по-женски, непригодно для общения с тяжестями или техникой.

Все эти случаи, связанные с мужчинами и их уходом, Плюша с какого-то времени выслушивала и откладывала в голове. Собирала их там, как фантики или как бутылочные крышечки в детстве. Жалела, что не знала ФИО этих ушедших, их привычки, тепло рук и цвет домашних тапок. Она бы все это записывала и складывала в один альбом, вроде как раньше были для фотографий. Ей хотелось как-то защитить их, согреть вниманием, заварить чай. А пьющим бы достала из запасов, оставшихся от Натали. Только чтоб пили не так, а для общения.

У Плюши даже возникала мысль, что все эти уходившие из дома мужчины уходили именно к ней. Что у нее был тайный приют для них. Настолько тайный, что она сама их не видела, а только так, чувствовала. Чем? Сердцем, грудью и немного своим мягким животом. Одного один раз даже видела. Рылся в ее деньгах, в столе. А может, показалось. Иногда игру теней легко принять за мужчину.

— Заведи кошку, — советовала своим хриплым голосом Натали, — и все исчезнут.

Кстати, все эти разговоры, что место здесь для жизни странное, начала сама Натали. Плюша их только впитала как губка, которой мамуся ее терла. Впитала и по-своему в мыслях оформила. В соответствии со своим ранимым художественным вкусом.

А Натали сама была фантазерка, ух какая еще сама фантазерка была.

На таких «Внимание, лавиноопасная крыша!» впопугу писать.

- Грех?
- Гордыня.
- Не слышу?
- Гордыня!
- Так... Грех?
- Зависть!
- Хорошо. Грех?
- Гнев...

Натали сидит в полупустом зале. Наклонилась вперед, руки положила на холодную спинку следующего стула. Уперлась в них подбородком.

На сцене топчутся Семь смертных грехов.

Ее Фадюша, второй слева, в золотистом галстуке, изображает Гордыню. Вчера ему этот галстук покупала, брюки гладила. А рубашку сам погладил: взрослый!

— Не слышу... — снова скрипучий голос с первого ряда. — Ты Гнев или что? Где ярость в голосе? Еще раз... Грех?

— Гнев! — рычит Митя, Фадюшин друган, и дикую рожу строит.

Недалеко от Натали хмыкает отец Гржегор, трет кулаком нос. Натали тоже в себе смех давит.

— Грех?

Надо это дело закурить. Натали скрипит стулом, отдирает от него свою пани дупу и идет к выходу.

— Грех?

Худощавый подросток, из новеньких, мнетя на сцене.

— Похоть...

Натали выходит в коридор. Пристраивается у доски объявлений. Ё... Забыла сигареты в куртке на стуле...

Возвращается в зал.

— Похоть, — уже по-другому, пискаиво, повторяет на сцене новенький.

Натали выискивает в кармане сигареты и повторяет исход в коридор. В зале смеются.

Натали закуривает, темнея на фоне стенда. На стенде крупными буквами прилеплено: «Общество польской культуры *Rzecz Pospolita*», ниже «Речь Посполитая». Фотографии с детьми и взрослыми и расписание занятий.

Мимо Натали проходят люди. Сверху летят обрывки хорового пения и стук пианино. Своего Фаддея она возит в «Речь Посполитую», или, как ее тут между собой называют, «Речку», уже полгода. На танцы, язык и в театральную студию к знаменитому Геворкяну.

Обычно привозит, оставляет и едет по своим. Потом за ним заезжает. Одного отпускать боится, хотя Фадюша уже пытался заявлять, что взрослый. Ну да, взрослый, взрослый... Уже пару раз простыни со следами его взрослости в машинку засовывала. Переодеваться при ней перестал, с трусами в кулаке в другую комнату уходит. Но Натали спокойнее, чтобы вот так, отвезла-привезла. Нежный какой-то он у нее получил-



ся. Вон какие ресницы, хоть ножницами подстригай. Раньше за девчонками надо было следить, а теперь еще и за мальчишками, чтобы никто их не это. Лучше она здесь спокойно покурит, чем дома или в офисе разные картины будет себе рисовать.

Дверь в зал приоткрыта; видно, как на сцене появляются ангелы и начинают бороться с грехами. Ангелов играют «старшаки». Фадюша переживал, что ему роль ангела не дали. Но ангелов назначал сам Геворкян, из тех, у кого уже приличный польский. Грехи пока разговаривали по-русски, долбили дома польский текст. Автором пьесы был вот этот самый отец Гржегор, нос который тер.

Сама Натали польского не знала, каким местом ей его знать? Поляков в роду не водилось; казаки были, но это совсем другое. Только через Антохина своего к Польше приобщилась, кружок по шахматам тут вел, пока здоровье имел. Под конец уже его сама сюда возила, по лестнице вверх-вниз, как живой лифт, таскала. Вот по этой, которая от нее направо. Там сейчас какая-то фифа сывая стоит. Причесон типа «взрыв на макаронной фабрике», бусики. Мордаша знакомая, где-то встречались...

Натали еще раз глядит на лестницу и снайперски посылает бычок в урну. По пути из зала проходит мимо отец Гржегор. Натали, конечно, глубоко трам-пам-пам, что он бы подумал о ней с сигаретой. Она, вообще, к религии и храмам равнодушна, а что он иностранец, так что, она поляков не видала? Вот Антон у нее был поляк, и что? Язык у них, правда, приятный: слышит, как Фадюша вечером тарабарит на нем, когда роль учит. Встанет у двери со шваброй и слушает.

Фадюша рвался всеми ногами и руками в Польшу, а она пока до этого материально не созрела. А одного, даже с группой, отпускать боялась; и так летом он в их молодежный поход ходил: никакой программы, одни обжимашки по кустам. А она в бабушки не торопится. Вдвоем с ним ехать? Лады, и что в этой Польше делать? После Союза, когда фабрика их рухнула, девчонки наладились туда за тряпками мотаться; рассказывали, что смотреть ноль. Мужики квасят, как у нас; только еще кругом все по-польски. И отношение такое, как будто мы их не освобождали от фашистов.

Раз отец Гржегор вышел, значит, вторую пьесу уже начали, про «Млоду Польску». Это уже пьеса самого Геворкяныча. Фадюша в ней играет главную роль Стаковского, не самую главную, но одну из самых. Ради нее Натали и приехала, чтобы посмотреть, как он там на сцене будет.

Плюша слышит голос профессора.

Голос идет из длинного и темного профессорского рта. Иногда ей кажется, что он развертывается оттуда в виде узких свитков, как на старых картинах.

Плюша сидит в своем кресле у Карла Семеновича. И день туманный, и запах книжный в комнате колышется, а с кухни тянет корицей, там колдует над кофе пани Катажина. Плюша ее теперь боится, после того разговора в мокром коридоре.

— Католичество, — говорит Карл Семенович.

Слово это, начертанное латынью, выплывает на тонкой ленте изо рта его и серпантинном плывет к Плюше.

Католичество Плюша уважает и боится. Как оно выглядит, представляет плохо. Оно похоже на фото-

графию готического собора. На фотографию витражей. Но что люди делают там, внутри соборов, среди этих витражей? Слушают орган и поют какие-то молитвы, наверное...

— Перекреститесь, — говорит Карл Семенович.

Плюша касается пальцами лба. Потом живота, обтянутого вязаным платьем, уже не так уверенно. И задумывается над дальнейшими действиями.

Карл Семенович смотрит на нее ласково; запах корицы усиливается.

В городе недавно стали создавать католическую общину. Отыскивали поляков, напоминали им про их корни. Плюша тоже собралась туда. Не то чтобы удовлетворить свое религиозное любопытство. Может, в Польшу свозят... После инсульта Карла Семеновича она стала еще сильнее интересоваться всем польским.

Карл Семенович, лежа под пледом, эти интересы поощрял. Рассказывал ей о Кракове, о драконе, который жил под городом. Плюша слушала внимательно.

— Первая конституция в мире была принята в Польше, — говорит Карл Семенович. — И это все забыли. Какое было государство! И его украли у нас. На несколько столетий украли. Вернули — каким-то обрубком.

Плюша подумала, что с удовольствием бы сейчас в этот «обрубок» съездила. Но промолчала, чтобы не мешать мыслям, которые лились из Карла Семеновича. Развертывались, как свитки с изречениями.

Пани Катажина внесла кофе с золотистыми булочками.

Плюша разглядывала шершавую, мятую кожу на руках домработницы, невольно сравнивала со своей, мягонькой, и слушала дальше.

— Не только в каждом народе, но и в каждой расе, — Карл Семенович пытался приподняться со своей огромной подушки, — есть свои аристократы и свои плебеи. В славянском племени быть аристократами выпало полякам... К сожалению...

Пани Катажина помогала ему удобно сесть. Склонилась над ним.

А вдруг она его сейчас... поцелует? Конечно, этого не могло быть: Катажина была некрасивой, с двойным подбородком и красными руками, а Карл Семенович... Карл Семенович принадлежал ей, Плюше. Хотя между ними ничего не было, только диплом и легкие прикосновения. Но раз у Катажины есть губы, то она может ими по-хозяйски поцеловать щеку Карла Семеновича. Или его лоб с красивыми морщинами... Плюша вздрогнула, решила в следующий раз на всякий случай надеть платье покороче.

Катажина помогла Карлу Семеновичу устроиться с кофе и отошла. Плюша перестала следить за ней, сосредоточилась на словах Карла Семеновича. Нахмурила лобик. Представила себя со стороны и осталась довольна.

С Кракова профессор перешел на Варшаву: «Варшавы теперь нет». Плюша не поняла и поглядела с непроглоченным кофе во рту. «Вся разрушена, в войну», — пояснил Карл Семенович. Плюша поняла и проглотила, в животе булькнуло. Пошлапала губами, чтобы казалось, что это не из живота, а от губ.

Профессор, кажется, не услышал. Он был весь в своих варшавских руинах. А Катажина уже вышла, шумит водой на кухне. Фанатизмом чистоты она напоминала мамусю.

— В семнадцатом веке у России был шанс пойти по польскому пути, — говорит Карл Семенович и ищет глазами, куда поставить чашечку. Плюша вскакивает с кресла и пытается изящным движением у него ее взять.

— Сколько она тогда взяла у Польши. И в политике...

Пальцы Плюши и Карла Семеновича на секунду соприкасаются.

— ...И даже в стихосложении, в церковном пении, даже в моде. — Голос Карла Семеновича делается тише. — И если бы царица Софья...

Что «царица Софья?..» дрожащим голосом спрашивает Плюша.

Еще одну долгую секунду каждый тянет чашечку на себя.

— Если бы она смогла сохранить власть, то, безусловно, реформировала бы Россию по польскому образцу, — заканчивает Карл Семенович. И, глядя в широко раскрытые Плюшины глаза: — Но этому не суждено было случиться.

Плюшины глаза увлажняются.

Почему?..

— Потому что — Россия. — Карл Семенович отводит взгляд и устремляет его в потолок. — Пришел Петр и заточил Софью в монастырь. И выбрал самый жесткий, самый варварский из всех европейских путей — немецкий. Точнее, прусский.

Плюша ставит чашечку на табурет, садится обратно в кресло. Теперь она боится, что профессор услышит, как стучит ее сердце. Или почувствует запах выступившего пота.

— Через столетие они вместе с пруссаками разорвут Польшу на части...

Допив кофе до самой гущи, Плюша прощается.

Пани Катажина снова трет коридор. Плюша старается смотреть не на ее лицо, а на тряпку и мокрый след.

Выйдя на улицу, Плюша думает о царевне Софье. Вспоминает картину Ильи Ефимовича Репина: Софья была на ней увековечена некрасивой и тяжелой бабой. Никакой власти, никаких мужчин; в окошке монастыря виднеются мужчины, но они повешены — только страшный и сладковатый запах от них.

— Круковская!

Здравствуйте... Ричард Георгиевич.

Вот какой сюрприз.

Идут молча, Геворкян закуривает. Плюше хочется забиться в щель под тротуаром.

— Ну что, подумали над моим предложением? С архивами? Как раз готовлю сейчас книгу по «Польскому делу»...

Выставил локоть, приглашая Плюшу воспользоваться его галантностью.

Делать нечего, воспользовалась.

— Ну так как, пани? — Они шли под руку, Плюшины ноги все еще были холодными, но руке, которая была захвачена Геворкяном, уже было тепло. Как печка, думала Плюша, глядя на Геворкяна. Сегодня он был в ботинках.

— Согласны? Вот и прекрасно. Значит, так... — и стал быстро, по-преподавательски, объяснять условия работы.

Все узнаю, думала Плюша, а потом сообщу Карлу Семеновичу!

Думала она так, правда, уже вечером, идя дальней дорогой от остановки к дому. Ближняя дорога шла мимо поля.

На следующий день Геворкян уже вез ее в архив, и она туманно улыбалась его шуткам. А насчет польской общины оказалось, что и там Ричард Георгиевич был на каких-то ролях. Религию Плюша все еще понимала плохо, а за консультациями к Карлу Семеновичу решила временно не обращаться.

Она лежит на земле, на итальянской земле в снегу. Покрывало сбилось в изножье.

Рука закинута за голову, веки прикрыты, на ресницах снег. Другая рука прикрывает от ветра низ живота. Тс-с... Она спит.

Смерть в образе внезапной Зимы покрывает ее. Ее ляжки и маленькую грудь, ее приоткрытый рот и мокрые волосы. Надо бы открыть глаза и пошевелить рукой. Что-то ледяное, скользкое целует ее. Плюша отворачивается и мычит, как ребенок во сне.

Плюша стоит на лестнице. (Плюша лежит под снегом.) Плюша стоит на лестнице и смотрит на курящую женщину. (Плюша приоткрывает глаза на снегу, чихает, начинает звучать орган.) Мимо, неся невидимую хоругвь Неодобрения, проходит отец Гржегор.

Так они и встретились, ясновельможная пани Плюша и неясная и невельможная совсем пани Натали. Когда окурок Натали долетел до урны, они успели обменяться взглядами.

Они и до этого виделись, проживая в одном доме на границе поля, где какая-никакая жизнь еще светилась, издавала запах, глухие голоса, а дальше ее уже

не было, до самого горизонта. Но у Плюши был тогда сложный период: жила одна, а мамуся на чьей-то даче. Плюша лежала на диване и много думала. Даже салфеточки временно перестала вязать и питалась одним дошираком. Все ее домашние вещи и даже тапочки пропахли дошираком.

А у Натали была широкая, открытая к жертвам душа. Любила сюрпризы делать: цветы подарить, рыбы копченой неожиданно принести. Могла чужих детей каждый день из школы привозить, иногда в парк их везла, развлекала каруселями, до отвала кормила мороженым, так что чужие дети только сопели от удовольствия. Пару семей от развода спасла: организовывала им походы, чинила утюги, оплачивала психолога.

Некоторых такое горячее участие отпугивало, особенно когда Натали могла приехать поздно и слегка подогретой и устроить разговор за жизнь. Или пойти с чужими мужьями на футбол, обниматься и орать с ними на трибуне. Или вырывать гитару у приезжего исполнителя авторской песни, которому до этого сама же поднесла букет роз, весивший килограмма два. Бежали тогда за ней час, пока не уговорили вернуть инструмент гостю. Оказалось, хотела набить ему гитару конфетами местной фабрики, которые он неосторожно похвалил во время общения с залом.

При этом и собственного сына, Фадюшу, не забывала, старалась обеспечить материнской любовью по полной. И по паркам таскала, и развивающими играми заваливала. Очень только хотела из него мужика вырастить, а он сопротивлялся. И бокс ему был не нужен, и перед зеркалом любил зависнуть. Стоит и кудри на палец накручивает. Пыталась его бе-



гать по утрам заставить, сама даже ради этого в новые штаны нарядилась, так он один раз вокруг дома обежал и простуду схватил, как будто ей назло. Пошла со своим горем к психологу. «А зачем вам из него мужика делать?» — спросил психолог. Натали аж головой дернула: ну как же... «Обычно это нужно тем женщинам, одиноким, — продолжал спокойно, — которым самим мужик нужен. Вот они и пытаются бессознательно из ребенка что-то такое себе слепить... Вам нужен мужик?» Натали приморщила лоб: «Да не... С Антошкой наелась». Закурила, оставила деньги и уехала.

Фадюшу отгонять от зеркала перестала. Раз не хочет расти мужиком, может, в музыкальную школу отдать? Узнала хорошую школу, причесала, повела. Послушали его. «Вы нас не устраиваете». — «Это вы нас не устраиваете!» — ответила Натали и звонко хлопнула дверь. Отдала в итоге в театральный кружок, к Геворкяну, при «Речке». Зря, что ли, Антон там шахматы преподавал?

Одно, правда, у Фадюши нормальное увлечение было: футбол. А то бы вообще от подозрений замучилась. Футбол как-то ее успокаивал. Она и сама футбол обожала. Могла даже... да что вспоминать, чего могла, да если еще с пивком. Сказали б ей, что ради победы любимой команды надо на памятник Калинину голой залезть, скинула бы все и залезла. Только чтобы кто-то шмотки внизу покараулил.

Так что Фадюшин футбол она поддерживала, и даже, когда он весь вонючий, как козел, с него возвращался, молча сдираала с него все и радостно пихала в машинку. Только на поле за их домом не позволяла

гонять. Только не на поле этом, лады? Уже и историю эту ему рассказывала... Нет, она, конечно, сама этого не видала, тогда она еще здесь не жила, а снимала хаты в центре. А та история раньше была: ребята тоже на поле вот так какой-то ком земли вместо меча гоняли. Гол им забили, ком развалился. А это череп, оказывается. Ребяшня врассыпную.

Нет, сама не видала. Но по дому эта история до сих пор гуляет. Так что не ходи, Фадюша, на поле. Розумешь, коханий?

Плюшенька, душенька, не ходи на поле.  
Плюшенька, подруженька, не ходи на поле.  
Там на поле воробей, воробей,  
Он возьми тебя побей,  
Не ходи на поле.

Стоит Плюшенька на светлой кухне, четки из желудей перебирает. Да нет, милая, куда же я пойду? Это я раньше ходила, а сейчас больше по своей квартире путешествую.

А воробья того помню, видели мы его с тобой. На сухой березе сидел. Тебе на воротничок накакал, когда мимо шли.

А воробей по-польски — врубель. Это который демонов писал.

Кыш-кыш!

Плюшенька, душенька, не ходи на поле.  
Плюшенька, подруженька, не ходи на поле.  
Там на поле воронок, воронок,  
Тебя клюнет во глазок,  
Не ходи на поле.

— Не пойду, не пойду, — говорит на кухне Плюша. А глаза у самой играют, огоньки вспыхивают. Рот приоткрылся, зубки видны. И ворсинки на халате от дыхания шевелятся.

Ворон этот им тоже встречался, в спины им каркал.

Обсыпал их карками, захопал крыльями, улетел. Только в ушах у них что-то черное осталось, как после крика мужского.

А как ворон по-польски будет? Крук.

А она — Круковская.

А ворон ворону глазок не выклюет.

Отец всю жизнь проносил эту фамилию, не зная, что значит. Польского не знал, служил инженером. Жил на две семьи, она уже это говорила. Умер от сердца.

Кыш-кыш!

Плюшенька, душенька, не ходи на поле.

Плюшенька, подруженька, не ходи на поле.

Там на поле польский пан, злобный пан,

С тебя сорвет сарафан,

Не ходи на поле.

А Плюшенька ножкой артритной притопывает, глазками поигрывает — отвечает:

Душенька-подруженька, ой, пойду на поле.

Дома-то мне скучненько, ой, пойду на поле.

Мне не нужен воробей-воронок,

Только пану подмигну я разок,

Выгляну на поле!

Из крана крупными слезами капает по немой посуде.

Поле закутано тьмой, в редких фонарях, несущих равнодушную ночную службу.

Плюша видит, как легонько шевелится и дышит на нем земля. Как подымает себя в темных, невидных местах, расходясь трещинами. Как заполняются трещины рыжеватой жижей. Как свихнувшийся воробышек-врубел просыпается и вертит клювом. Как поднимается в ночной воздух ворон-крук, вспугнутый потянувшим от земли беспокойством.

Ходит по полю козлоногий пан, на свирели играет, голубой глазок слезится.

Архив располагался в обшарпанном здании недалеко от памятника Калинин. На входе сидел милиционер с уставшим лицом и темнел турникет.

Милиционеров Плюша немного боялась, турникетов еще больше. Могут защемить, зажать что-нибудь...

Плюша протянула милиционеру пропуск и, пока тот вертел его в руках, смотрела на его шею. Милиционерская шея была обычной, розовой, с волосками. Почуввав, наверное, Плюшин взгляд, почесал ее короткими пальцами.

Это был первый самостоятельный визит Плюши в архив.

Прошлые два раза ее приводил сюда Геворкян. Оформляя ей разрешение, водил за собой по этажам. Плюша кивала, но запоминала слабо; несмотря на лето, мерзли ладони. Ей казалось, что она в лабиринте. Запомнила столовую на первом этаже, где они ели слипшийся рис с котлетой и витаминный салат.

Расплачивался на кассе Ричард Георгиевич. Еще был клюквенный морс, в сочетании с котлетой он дал долгий привкус, с которым у нее стал связываться архив. И еще с запахом умирающей бумаги и мышьиной отравы. Геворкян показал ей зал, где она будет читать документы. Он ей их заранее заказал. Суровые архивные тетки при виде Геворкяна расцветали.

Расцветут ли сегодня так перед ней?

Для чего она согласилась, чтобы он притащил ее сюда и усадил за эти серые листы? Геворкян, правда, пообещал платить. Деньгами Плюша не увлекалась, но от мысли, что у нее будут «свои»... Можно что-нибудь купить для дома. Например, эстамп картины Брюллова «Последний день Помпеи». Приглядела его на первом этаже ЦУМа и долго любовалась, представляя, как «Последний день» оживит их гостиную.

Но главное, Плюша решила войти в доверие к Геворкяну и разведать тайну загадочной пощечины. Даже губы для него стала чуть поярче красить. И тетрадку купила, как он учил, чтобы выписки делать. И оформлять грамотно. Она будет стараться, и он это оценит. Она ему даже вязаный чехольчик для очков подарит, чтобы усыпить бдительность. И узнает все. И придет к Карлу Семеновичу на белом коне. В переносном смысле, но почти как в прямом. Карл Семенович, конечно, обрадуется, поднимется, как молодой, с дивана и... Дальше в Плюшиной фантазии шли помехи, изображение плыло.

Самого Геворкяна Плюша пока ни о чем не спрашивала, только слушала его слова и глядела на его крупные движущиеся губы. В первый приход в архив, во время поедания котлеты и запивания ее морсом, Плюша спросила, будет ли она изучать также «Польское дело». Как

бы так, между прочим, спросила: она только входила в роль разведчицы. Геворкян поднял на нее очки: «Вы уже о нем слышали?» И продолжал жевать, отлавливая вилкой остатки риса и помогая себе хлебом. Плюша слабо кивнула. Геворкян дожевал, вытер рот и сообщил, что «польское дело» находится в архиве КГБ, но он надеется... Больше о нем пока не заговаривали.

Пока Плюше предстояло работать с делами польской коммуны.

Плюша вошла в читальный зал, поздоровалась. Стопка заказанных дел уже дожидалась ее. Сделала запись о своем приходе, села возле окна, где пылилось огромное алоэ с засохшими нижними листьями; мамуся такие всегда обдирала. Побыв несколько минут в нахлынувших на нее мыслях, Плюша достала тетрадку и новую, еще не обгрызенную ручку. Записала на первом листке, как научил ее Ричард Георгиевич, фонд, опись и дело. И начала переписывать те страницы, где Геворкян делал закладочки. Фотокопий тогда не делали, или делали, но почему-то Геворкян велел переписывать. Может, научить так ее хотел.

Плюша тщательно переписывала, покусывая ручку. Иногда отрывала засохший листок от алоэ, боясь, что ее застукуют за этим неинтеллигентным занятием. Оторванные листья бросала за батарею.

Вот и обед. Плюша спускается в столовую, где уже почти все съели, раньше надо было приходиться. Взяла скользкий поднос, стала толкать его пальчиком вдоль раздачи. Остался клюквенный морс, запасы которого в архиве никогда не иссякали; вместо котлеты была треска с рисом. Плюша жевала треску, напоминавшую мокрый картон.

Геворкян оказался прав: архивное дело было как раз ее. Вид исписанной бумаги успокаивал; ей нравилось долго, посапывая, разбирать неясный, прыгающий почерк какого-нибудь товарища Вайды, секретаря коммуны. Или комсомолки Ванды Лещинской, буквы у которой были круглы, как яблоки. Многие документы были на польском; хотя там не было сделано закладок и Плюша польский хорошо не знала, она проглядывала и их, любуясь начертанием. Все сухие листья с алоэ уже было сорваны; в перерывах она просто глядела в окно, на стену с пожарной лестницей, и думала о разных проплывавших в ее голове вещах. О пожаре, который может возникнуть; о неудобных прокладках и о том, что в автобусах теперь нет кондукторов и водитель требует выхода через переднюю дверь.

Иногда Плюша думала о документах и о тех людях, которые эти документы писали. Как, наверное, спорили над ними, как курили и взмахивали руками. Она ожидала найти в этих бумагах что-то польское, какие-то мысли о Польше, которыми щедро кормил ее Карл Семенович. Но ничего польского, кроме имен, в бумагах не было. Обсуждались разные вопросы: о сборе средств для голодающих, о приобретении мотора для артели имени Коллонтай и об отправке делегата на Первый съезд безбожников. Для чего эти люди тратили с таким энтузиазмом на это свое время? Но переписывать их слова и постановления было приятно: можно было ни о чем не думать и только перетекать из буквы в букву, следуя за движением шариковой ручки. Если бы в архивных делах были рисунки или фотографии, было бы интереснее. Но на картины она может насмотреться и в их музее; в архиве она вре-

менно. Правда, она уже начала вязать для себя наки-  
дочку на стул, чтобы сидеть было теплее.

К Карлу Семеновичу она недели две не ходила. Не-  
сколько раз звонила и интересовалась самочувствием.  
Карл Семенович отвечал на вопросы медленно, как  
будто чувствовал измену.

Начались дожди.

Плюша все меньше переписывала, больше сидела,  
глядя в окно на мокрую пожарную лестницу. Польская  
коммуна жила своей далекой чужой жизнью. Интересно,  
шли ли у них там дожди? Смотрели ли они на дождь вот  
так в окно, отрываясь от своих диспутов и резолюций?  
В документах об этом ничего не было. Там, вообще, ма-  
ло что было про живую жизнь, в которой кто-то просто  
так может глядеть в окно, или заболеть, или влюбиться  
и прыгать по ступенькам через две на третью. В комму-  
не были люди, сделанные из серого скучного металла.

Только один раз сквозь этот металл проглянула  
нутряная, неметаллическая жизнь. Обсуждали не-  
достойное поведение какого-то товарища Збигнева,  
заразившего двух коммунарок гонореей. Товарищ  
Збигнев оправдывался незнанием медицины и зовом  
плоти; собрание единодушно исключило его из ком-  
муны, призвав усилить борьбу за гигиену всех сто-  
рон жизни.

Что стало с этим товарищем Збигневым, думала  
Плюша под звук дождя. Что стало с этими коммунар-  
ками? Как он их заразил? Просто пришел и заразил  
или еще что-то горячо шептал им в ухо? Збигнева она  
представляла блондином и похожим на Евграфа. Са-  
мого Евграфа помнила уже как-то сквозь туман, как  
конфетку, которой ее подразнили, помахали перед ли-



цом и забрали. А ее оставили разрываться между медленным голосом Карла Семеновича в трубке и этим читальным залом, куда ее заманил толстый Ричард Георгиевич. Заманил и бросил. Правда, вручил ей задаток. От печали и безысходности Плюша потратила его на фиолетовую шляпку. Остаток положила на стол перед мамусей, чтобы чувствовала и понимала.

Плюша уже начала слегка скучать и позевывать за своими архивными занятиями, как в новом деле наткнулась на зеленюватые листки. Папка эта еще не была просмотрена Ричардом Георгиевичем, и закладочек не было. Плюша блуждала по папке, листая то в одну, то в другую сторону. Зеленюватые листки были где-то в середине и привлекли ее почерком. Он был аккуратным, ровным, и веяло от него спокойствием. В то же время чувствовался призыв к чему-то важному. Плюша поправила кофту, ущипнула и подтянула колготки и стала читать.

Это было духовное писание каких-то религиозников, которым коммуна готовилась дать бой. Зеленые листочки были изъяты у одного из коммунаров, кого эти «прислужники старого мира и иностранных разведок» (Плюша аккуратно переписывала) пытались завлечь в свои сети. Коммунар нервно каялся, и его тоже звали товарищ Збигнев; может, это был тот же самый загадочный блондин с гонореей. Плюша переписала немного из самих проповедей.

«Жить нужно при мысли о трех скорых кончинах. О скорой кончине своих близких людей, о своей собственной скорой кончине и кончине всего этого мира.

Если будешь мыслить о скорой смерти своих близких, представлять их похороны, то невольно станешь больше любить их и прощать им их недостатки, как прощают тем, кто уже находится на одре смерти. Если о своей скорой кончине — то не будешь беспечным и рассеянным, постарайся примириться с людьми и больше делать им добра. Если же будешь всегда памятовать о скором конце всего мира, то увидишь, как всё в нем преходяще, дымообразно, станешь больше думать о Царствии Божием и готовиться к нему».

Плюша в тот день ехала домой на троллейбусе. Села у окна и достала из сумки «Анжелику в гневе», уносящую ее обычно из набитого троллейбуса в сладкий семнадцатый век. Но «Анжелика» не срабатывала, Плюша никуда не уносилась, а сидела в своей фиолетовой шляпе и обиженно разглядывала город в окне. Вспомнила призыв помнить о трех смертях и задумалась о своей, казавшейся наиболее вероятной. Картина выходила безрадостной. Цветы, цветы, и все не те, какие хотелось бы. И коврик на стул в архиве оставался недовязанным, и его вид с торчащими спицами вызывал комок в горле.

Ночью Плюша спала чутко и нервно; под утро разлетались комары. Плюша встала покусанная, в одной тапке, вторая не желала находиться. Стала звонить Геворкяну, чтобы отказаться от работы, отнимающей все силы, но вначале сообщила ему о зеленых листочках с записями проповеди. «Да ты что? В коммуне? Диспут? А имя, имя священника?» От восклицаний Геворкяна Плюшино ухо стало горячим, и она приложила трубку к другому. «Это может быть только отец Фома», — Геворкян говорил уже спокойней.

Кто такой этот отец Фома, он ей объяснил днем позже, в архивном буфете, где они снова ели котлеты и запивали морсом. Отказаться от работы у Плюши не хватило энергии.

Натали знала этот архив: шарашкина контора. Ездила туда поднимать бумажки на своего покойного, доказать его польскость. Он же из детдомовских у нее был; он и Гриня, его брат этот, тоже покойный, с кудрями своими. Кстати, где Гриня лежит, она так и не знала, Антон ей не сообщал, а она и не лезла. Да и по барабану ей было: цветочки, что ли, класть ему?

В архив она ездила с целью, и цель была Фадюшино обучение в этой Польше, куда он так ломился, а потом и гражданство. Плюша, конечно, какие-то свои прежние завязки ей дала, но от них проку, как от козла молока, половина повыходила на пенсию, и, вообще, ей был нужен другой отдел. Ее тут же начали футболить, а пойдите туда, а принесите еще то. Натали им — типа, красули мои, хваток сиськи мять; говорим, сколько? В смысле цена вопроса. Так ведь не сказали, сделали вид, что не поняли. Опять: а вот нужно еще вот это... Помог Геворкянч, хотя у него уже тогда неприятности начались, но какие-то связи оставались. Выдали ей нужные выписки, но она все равно отблагодарила: «Это вам к чаю».

Было это для Натали какое-то странное время. Куда-то расплозлись и разъехались друзья. Многие свалили в Москву, откуда первые год-два звонили, говорили часами, потом меньше, потом редко и совсем исчезали. В социальных сетях делали вид, что не знают.

Вырос Фадюша. Натали пыталась продолжать о нем заботиться; Фадюша заботу терпел, но уже морщился. Один раз вернулся пьяным в дупу. Натали растерялась, походила вокруг и поехала сама напилась, чего с ней лет десять уже не бывало. Вернулась под утро, Фадюша, уже протрезвевший, открыл ей, а она чуть на него не упала из подъезда. Он ресницами своими на нее хлопает: «Ма, ты... чё?» А она за стенку ухватилась: «А ты... чё?» Потом по очереди к «белому другу» бежали. Больше Фадюша таким не возвращался. Может, тайком квасил, но домой всегда трезвачком.

Сготовился уже их спектакль, где Фадюша Гордыню играл. Натали явилась на генеральную репетицию, в зале духота, детки все потные. Притащили вентилятор, который поворачивался вокруг оси; свет погас. Натали никак не могла точку сидения найти на стуле, чтобы не скрипел, зараза. Вышел отец Гржегор, сказал по-русски и по-польски. Натали тоже захлопала, а стулья уже все заняты, на другой не пересядешь. Полный зал был: родители, как она сама; народ из костела; два придурка с камерами. Ветер от вентилятора доходил слабо и с перерывами, Натали стала гонять воздух перед собой польской газеткой, которую раздавали внизу. Спектакль шел по-польски, Натали слушала вполуха и ждала выхода Фадюши, чтоб похлопать. На сцене стояли какие-то двое, в обычной уличной одежде, и называли друг друга Адамом и Евой. Натали разглядывала Еву — Фадюша о ней как-то за ужином говорил, Натали настожила. Боялась, что Фадюша втиорится без ее ведома и наломает дров. Она, конечно, не хотела вмешиваться, но как представишь, что какая-то деваха начнет прижимать ее Фадюшу к разным местам...

Понаблюдав за Евой, слегка успокоилась: нормально, с пивком сойдет. Ноги, руки, все на месте, и роль хорошо играет, без всяких этих... Натали даже увлеклась, перестала скрип стула замечать и вентилятор. Только один раз почувствовала непорядок в носу. «Сейчас чихну», — подумала, и чихнула. И снова отдалась спектаклю.

Они стоят возле дерева: он по одну сторону, она по другую. По коре бегут муравьи, хотя их и не должно быть видно — художники Кватроченто не изображали муравьев. Но они, муравьи, чувствуются, их торопливый бег, вверх и вниз по Древу Познания. Только когда луч, протиснувшись сквозь густую крону, падал на ствол, вспыхивали их маленькие торопливые тела. Как янтарные капли, бежали муравьи, и еще складки, морщины на коре. Ибо какое же познание без морщин? Но луч гас, гасли морщины, ствол делался темным. А эти двое, по правую и левую сторону, светили еще ярче своим собственным светом, от рук, головы и от ног. И говорили друг с другом по-польски, чтобы те, кто не знал его, не мог их понять.

Само Древо тоже имело человеческую фигуру.

Это была мужская фигура с плотно сжатыми ногами — так изображали его иногда на старых немецких и польских гравюрах. Смуглая голая кожа, загоревшая под ледяным солнцем ада; мясистый торс, разведенные руки, из которых лезут плодоносные ветви. Вместо головы — череп; срамное место прикрыто райской жимолостью; жимолость колышется от ветерка. Натали моргает под вентилятором, видение исчезает. Снова обычное дерево, снова муравьи.

Змей же был хитрее всех зверей полевых и появлялся прямо из-за дерева. Ладонь с длинными пальцами сжимает ствол, прерывая муравьиную тропу и давя муравьев. Потом появлялась вторая, чуть ниже, и, наконец, лицо. Лицо было в маске и темных очках. Змей не мог видеть света, исходящего от этих двух, отдыхающих под кроной дерева. От змея, правда, тоже шел свет, но желтоватый с серым отливом, от головы и немного от ладоней: свет зависти.

Змей сказал что-то по-польски и снова спрятался за стволом.

Эти двое его не слышали, они были целиком внутри своей любви, своего сияния. Или польский, на котором говорил змей, был польским смерти и льда и отличался от их польского, теплого, как недавно вынутый из духовки яблочный пирог.

Медленно пригнулись и распрямились травы, тонкие ветви; откликнулась шелестом крона; новый луч просочился сквозь листву и подсветил часть ствола с бегущими муравьями. Это вентилятор повернулся в сторону сцены, подул на нее немного и снова стал медленно поворачиваться в зал.

И тогда на сцену стали выходить грехи.

Вышла, виляя бедрами, Похоть. Тот самый паренек, кого Натали на репетициях видала; узнала с трудом. Сказал что-то Еве, ладонь ей на талию положил. Тело у Похоти козлиное, грудь женская, голова напоминает собачью.

Вышла Зависть и закурила. Футболка со скорпионом, пирсинг в носу поблескивает. Докурила, пустила длинную сляну и отползла на животе в тень.

Так дружно за дружкой вышли все Семь грехов.

Стоят общаются.

И Фадюша вышел, то есть Гордыня. В золотистом галстуке, пиджаке, пот даже с шестого ряда видно. Край галстука мнет, волнуется, но роль всю хорошо свою произнес, без всяких «бэ-мэ». Черные, как у летучей мыши, крылья раскрыл, пасть ощерил, сел на ветку Древа Познания, выше всех. Натали залюбовалась им, газеткой обмахиваться перестала, по-матерински напряглась, сосредоточилась. А сзади стучало сердце Плюши, которая тоже все это видела, но по-своему.

Ви таки будете смеяться, как любила говорить с еврейским акцентом Натали, но Плюша все еще стоит на кухне. Вечер воспоминаний продолжается. Или уже ночь воспоминаний... Который там час? Плюша боится смотреть на часы. Часы показывают время. А время показывает, как из Плюши вытекает последний драгоценный воздух жизни. Как из шарика, который надули и забыли перетянуть ниткой.

Было в детстве такое развлечение в их дворе, когда только переехали. Надували и, не затянув, отпускали. Шарик метался в разные стороны, уменьшался и терял воздух. А потом ложился на асфальт и сдувался окончательно: до тряпочки. Маленькая Плюша жалела такие шарики, даже больше чем те, которые просто лопались. Те как бы умирали мгновенной и почти веселой смертью. А эти, которые мучились с жалобным свистом... «Что ты переживаешь, — говорили сверху ей взрослые, — эти можно еще надуть». Но никто их снова не надувал, и они валялись на земле, и на них наступали ногами. Только один раз сосед, монтер дядя

Толя, проходя мимо, наклонился и стал их собирать. «Што добро валяется, его ж вместо... — покосился на детей, — одного изделия употребить можно, если с вазелином...» Бывшие рядом взрослые засмеялись и захмыкали, а одна из соседок шлепнула дядю Толю по спине.

А Плюша ничего не поняла тогда: стояла и смотрела, край юбочки мусолила.

Того дядю Толю похоронили довольно скоро, кажется, в том же самом пиджаке, в карман которого он складывал шарики. Дядя Толя лег на второе городское кладбище, где вскоре окажется и Плюшин отец. Во дворе по случаю дяди-Толиной смерти был устроен поминальный стол с водкой, чаем и пирожками. Это была одна из первых мужских смертей в их доме. А поле за домом еще казалось привольным, по нему можно было бегать, а скоро, это было точно известно, на нем построят новые дома и кинотеатр...

— Погодите, еще ляхи за вами всеми придут...

Это говорила старуха, одна из «скамеечниц», сновавшим туда-сюда жильцам с тарелками и чашками. Ее никто не слышал, все были заняты поминками. Слышала Плюша, стоявшая рядом. Слышала и снова ничего не поняла. Какие ляхи, за кем придут? Старуха эта жила в соседнем подъезде, одна в двухкомнатной с тремя кошками. Потом исчезла. В двушку вселились другие люди, очистив ее от кошек. Вот и все, что удалось узнать уже взрослой Плюше, когда она попыталась выяснить.

Красные, синие шарики носятся над двором. Выпускают воздух и ложатся на асфальт или траву. А те, которые перетянуты нитью, их относит ветром на поле. И оттуда уже не возвращаются.



Нет, сама бы Плюша сыграла Еву по-другому.

Во-первых, не стала бы так сильно раздеваться. Ева — это не обязательно что-то голое. Она бы надела какую-нибудь античную одежду. Тогу. Складочки, складочки. Тут... И вот тут... Украшения — только из природных материалов.

Плюша в седьмом ряду трет ногой об ногу и ждет, когда начнется грехопадение. И весь зал, как ей кажется, тоже этого ждет и не дышит. Только вентилятор шумит и где-то вдалеке за стенами прогудел троллейбус.

Ее, Плюшино, грехопадение произошло в архиве. Не в самом, конечно, архиве, там для этого и места специального не было, но в те архивные дни. И не полное грехопадение, а так... Как откусанное яблочко, которое потом затерялось среди книг и так и высохло ненужным.

Всю ту осень она прометалась между Геворкяном и Карлом Семеновичем, между архивом и музеем; в музей ее настоятельно в каждом телефонном разговоре посылал Карл Семенович: «Вы были в музее?» Плюша почти шепотом отвечала, что была. И краснела так, что даже что-то в животе начинало булькать. В музее ей нужно было поработать с описью... Уже и забыла с какой. Карл Семенович продиктовал, она записала и забыла. Потеряла. Может, даже у самого Карла Семеновича: у него в квартире она теперь становилась очень рассеянной. Рассеянно слушала, рассеянно пила кофе, не понимая, что она слушает и что пьет. От переживаний стали отекать ноги. А Карл Семенович все лежал на диване и говорил, говорил.

Речь после инсульта к нему вернулась, но стала какой-то чужой. Исчезла прежняя спокойная, уютная интонация. Много говорил о политике. Телевизором

ему служила Катажина, она приносила новости с рынка и площади, где теперь шли митинги и слышался мегафон. Как-то, отлучившись из комнаты Карла Семеновича, Плюша увидела, как Катажина выходит из ванной: большая, голая и с полотенцем на голове. Запах кислого пара ударил в ноздри. Плюша застыла и попятилась обратно. Больше всего ее поразило, как спокойно Катажина себя вела; захотелось даже укусить ее круглое плечо, которое домработница как раз терла краем полотенца. Застыдившись этой внезапной мысли, Плюша быстро закрыла дверь и мелкими шажками вернулась в кресло. Карл Семенович ничего не почувствовал: весь был занят своими высказываниями.

Говорил он так, как говорили тогда многие пенсионеры. И мамуся, и бабушки у них перед домом. Что развалили великую страну. Что рынок в России не приживется, потому что рынок — это базар. Но Карл Семенович сидел дома и с другими пенсионерами не общался, поэтому все, что он говорил, казалось ему оригинальным. Это поумневшая от Геворкяна Плюша отмечала про себя. Вообще, Геворкян почти не говорил с ней о Карле Семеновиче. Но что-то геворкяновское Плюша уже в себе чувствовала, в том числе и в отношении своего профессора. Какую-то иронию. А тут еще эта голая Катажина со своей обвислой грудью.

Катажина тогда, кстати, вскоре вошла; уже, конечно, одетая, но распространяя все тот же запах сырости и мыла, к которому добавился запах стиральной одежды, крахмального передника, темного платья. Войдя, стала встряхивать градусник: Карл Семенович желал, чтобы раз в день ему мерили температуру. От каждого встряха Плюша сжималась и вдавливалась в кресло.

Смотреть, как огромная, пахучая Катажина будет ставить профессору градусник, Плюша не могла. Отвернулась, уткнулась в шершавую кожу кресла.

Карл Семенович заговорил вдруг о Польше.

Плюша подняла голову. Говорил профессор с повизгиваниями; Катажина к тому времени уже вышла из комнаты, забрав чашки.

Карлу Семеновичу прислали приглашение. На конференцию, в Краков. Но дорогу не оплачивали. Слово «Краков» профессор прокаркивал: «Краков!», «Краков!»

Катажина зашумела в ванной водой. Опять купается? Или это она на кухне? На кухне, успокоила сама себя Плюша.

А профессор все переживал на диване, что ему не оплачивают дорогу.

И еще требуют взнос — за участие!

Диван заскрипел под Карлом Семеновичем; за дверью лилась подозрительная вода. Плюша ерзала в кресле, пытаясь найти удобное положение, и не находила.

Собравшись с силами, сказала, что можно обратиться в «Речь Посполитую». За спонсорством.

С дивана ее обдали волной сарказма.

— Куда? В это осиное гнездо? — и добавил что-то по-польски. Плюша разобрала несколько знакомых слов и покраснела.

— Прав был Леонтьев, — сказал вдруг Карл Семенович. — Неполноценная нация.

Плюша, чуть приподнявшись, спросила кто.

Карл Семенович, напротив, вдавил голову в подушку и стал глядеть в потолок.

— *Polacy*, — произнес отчетливо.

Плюша задумалась.

Он же говорил, что это великая нация...

— Чем великая? — Профессор продолжал глядеть в потолок.

Искусством. Архитектурой...

— Все заимствовано. У немцев, французов. Итальянцев. Ничего своего не изобрели.

Коперник?

— Наполовину немец. Писал по-немецки, по-польски не писал.

Шопен? (Плюша припоминала имена.)

— Наполовину француз.

Мицкевич... Адам Мицкевич!

— Наполовину еврей.

Плюша задумалась.

Станислав Лем...

— Чистокровный еврей! — выкрикнул Карл Семенович, и Плюша решила больше не проявлять свои познания.

— Вы, может, еще назовете Джозефа Конрада... — сказал профессор, чуть помолчав.

Что... Он тоже?

— Нет, он-то был поляк...

Плюша вздохнула. Кто такой был Конрад, она не знала, но была в тот момент ему почти благодарна.

— Поляк, — продолжал Карл Семенович, — не написавший ни одной строчки по-польски. Все на английском.

Плюша снова вздохнула.

— Юрий Олеша. Тоже писал только по-русски...

«Три толстяка»...

— «Зависть»! — отрезал Карл Семенович. И чуть более спокойно: — Гениальный роман...

Плюша быстро записала в тетрадке название. И фамилию Конрада через «т».

— Чтоб создать что-то великое, нам всегда были нужны какие-то другие... Другие народы...

Плюша уже не писала, а покусывала ручку.

— Чтобы стать христианами, нам нужны были немецкие миссионеры. Чтоб создать великое государство, нам нужны были литовские князья. Чтоб заинтересовать собой Европу, нам нужны были притеснения от русских царей... — замолчал, пошевелил пальцами. — Катажина!.. Где она там... Градусник!

На кухне шумела вода, Катажина мыла и что-то, кажется, мычала.

— Позовите ее, сделайте великое одолжение, — посмотрел на Плюшу.

Плюша пошла к двери. Остановилась. Но ведь и у русских тоже... Мысль была сложной, и Плюша ее не договорила.

— Тоже, — хрипло согласился Карл Семенович и прикрыл глаза. — Но русские хотя бы...

И устало махнул рукой.

Плюша стояла, чтобы услышать продолжение. Продолжения не было.

— Поцелуйте меня, — сказал вместо этого профессор.

Плюша еще постояла, потом подошла к дивану, взяла сухую профессорскую руку и поцеловала. И быстро опустила ее обратно на простыню.

В комнату, вытирая ладони о фартук, вошла Катажина, наклонилась над Карлом Семеновичем и извлекла градусник. Торжественно подняла его. Температура была нормальной.

— Ну и где тут грехопадение? — спрашивала Натали.

Плюша помнит, когда она рассказала ей эту историю: в поезде, по дороге в Смоленск. По лицу Натали пробегали отсветы, было поздно, заговорились. Плюша взяла очередную детскую шапочку. В купе они были вдвоем, не считая молчаливого попутчика, который ушел в вагон-ресторан и пропал в нем. Натали уже постелила и заказала чай. С лимоном для Плюши и простой для себя; в свой плеснула из фляжки, поглядела на Плюшу, та помотала головой.

И правда, как объяснить, где тут было грехопадение? Плюша тыкает ложечкой в лимон.

Это был ее первый поцелуй. Первый раз она поцеловала чужого человека. Пусть даже в руку. Ощущение чужой кожи долго оставалось на губах. Чувствовала его, когда возвращалась от профессора в троллейбусе с бесполезной «Анжеликой» в сумке. Чувствовала перед сном, когда мерзли ноги, и она поджимала их под себя.

В Смоленске они пробыли пять дней.

Плюше нужно туда было по делам, Натали просто гуляла с ней за компанию по сутробам. Смоленск был как бы их несостоявшейся Польшей, куда они так и не смогли выбраться.

Поездка была, по определению Натали, на пять с плюсом, хотя Плюша постоянно мерзла и просилась в тепло. «Но-ожки мерзнут!» — передразнивала ее Натали. И совала ей в губы фляжку. Плюша поначалу отказывалась, а потом привыкла: и к чуть холодному металлу, и к царапающему, горькому глотку.

Поселились они недалеко от костела. Костел стоял закрытым, на ветру шевелилась зеленая кисея, какой

обтягивают мертвые дома. Красный кирпич был местами обгрызан, и, как казалось Плюше, вот-вот обрушится; она даже отошла от стен чуть подальше.

Храм Непорочного Зачатия, читала она на карте.

Натали не слышала: курила возле большого дерева.

Костел уже много лет обещали передать католической общине и все никак не передавали; внутри страшного здания был архив; витражи были выбиты, окна местами заколочены фанерой.

Потом они ходили по польскому кладбищу, прямо у костела. Плюша, зная привычку Натали хулиганить на кладбищах, хотела походить одна, но сапоги постоянно проваливались, и нужна была помощь. Натали повела себя серьезно, читала вместе с Плюшей надписи на камнях. Из прочитанного Плюше больше всего понравилось: «Пала жертвой хулигана», а Натали — короткая надпись: «За что?» Но польских могил они не нашли.

Может, здесь есть другое польское кладбище?

Другого не было.

— А у меня могилы не будет, — сказала Натали.

Плюша услышала, но значения не придала.

Натали сделала их селфи на фоне собора; у обеих получились красные носы.

На следующий день съездили в Катынь. Там было тихо, тишина засасывала. День был солнечный. Плюша что-то успела рассказать по дороге о расстреле польских офицеров; Натали курила. Была еще какая-то группа, распространявшая вокруг себя русский шансон — его слушал отрок со смартфоном.

— Такой маленький, а уже мудака, — строго сказала Натали.

Плюша испугалась, что услышат родители, но родители не услышали.

Вечером, когда вернулись из Катыни, Натали потащила ее в боулинг.

Плюша сопротивлялась, даже придумала себе головную боль: обмотала голову полотенцем и легла. Натали сорвала с нее полотенце и стала дергать за ногу: «Идем, сколько можно по одним могилам шаракаться!» Пришлось вздохнуть и подчиниться. Холодно... Холодно... Натали вызвала такси: «Вот и согреемся. Хочешь на дорожку?» Фляжка у нее была бездонной.

Боулинг был в огромном торговом центре; шел слабый снег, Плюша держалась за Натали, чтобы не поскользнуться. Вошли в тепло. Эскалатор медленно понес их наверх. Было шумно, что-то мигало, трещало, и все напоминало карнавал, а может, даже ад; она вспомнила — из отца Фомы, — что ад похож на карнавал... Натали заставила снять сапоги, в которых она только начала согреваться, и натянуть огромные кроссовки. Плюша прошлась в них, чувствуя себя Чарли Чаплиным. Зачем? Она все равно не будет играть... Говорила она это сама себе: Натали куда-то исчезла. Вернулась с колой для Плюши и пивом для себя. Кола вредна, сказала Плюша и стала ее пить маленькими глоточками, потому что была еще и холодной. Если бы хоть с чипсами... Натали сбегала за чипсами. Захохотала откуда-то сбоку. Ее опять приняли за парня.

Плюша отыскала себе шар полегче и цвета попрятнее. Подумала немного, покачала, бросила... Шар вяло покатился и съехал с дорожки. Плюша бросила еще пару, устала и села на скамейку. Натали теперь играла за двоих: рывком подбегала к линии, метала шар, под-



прыгивала и кричала: «Ити, ни, сан!» или свое «Танцуем!» Плюша вначале радовалась ее успехам, а потом сосредоточилась на коле и захотела спать.

А Натали только вошла в самый азарт. «Ити, ни, сан!» — и шары: бух! бух! Плюша вспомнила, что у нее болит голова. Натали была уже подогретая, но все побеждала.

Потом Плюша сидела в баре и тянула кислый апельсиновый сок, а Натали носилась вокруг на какой-то двухколесной конструкции.

В такси Натали потянуло на песни.

— Ой ты, Гришка, черный цыган... Приходи гулять к нам на выгон!

Плюша зевала и мерзла.

Натали сидела рядом, большая, горячая и пьяная. У шофера была включена рация, женский диспетчерский голос переругивался с мужскими, водительскими.

— Ой, мамаша, я пропа-а-ла, за цыгана жить попала...

Натали закашлялась, Плюша мягко постучала ей по спине. «Не надо. — Натали отвела ее ладонь в сторону. — Сама!..» Шмякнула себя кулаком в грудь и закашлялась еще сильнее.

Потребовала остановить машину и вышла в темноту.

— Веселая, — посочувствовал Плюше водитель.

Прошло минуты две или три. Плюша зевнула, открыла дверь и позвала подругу.

Темнота молчала. Плюша испугалась, закрыла дверь и на всякий случай прижала сумку к груди. Чужой город... Снова осторожно открыла и позвала.

— Цыган едет, трубку курит... — запела откуда-то Натали.

Жива.

— А цыганка людей дурит...

Раздались позывные Наталийкиного смартфона.

Песня прервалась, с кем-то говорила.

Потом забралась обратно в машину, холодная. Откинулась назад: «Геворкяна судят».

На другой день интернет был завален подробностями, читали их уже в поезде. Натали то и дело уходила курить в тамбур. Один раз вернулась с половинкой арбуза, которую они с горя тут же и съели. До и после арбуза говорили о Геворкяне. Натали звонила общим знакомым.

Геворкян посиживал в архивных читалках давно, с конца семидесятых, когда еще писал свою книгу по истории местных театральных коллективов... Нет, саму эту книгу Плюша не читала, только по отзывам. Там вроде было немного о репрессиях, о том, как запрещали постановки, как сажали актеров. «Сажали» не было написано, но если читать внимательно... Книгу с блеклой обложкой раскупили за три дня. Сам Геворкян стал чем-то вроде местного Солженицына. И бороду как раз тогда отращивал; вскоре сбрил, правда.

Несколько раз его приглашали на беседы. Куда? Куда могли в таких случаях приглашать... «Чаем поили», — вспоминал.

В конце восьмидесятых в архивах подули новые ветры и Геворкян получил доступ к делу о «Молодой Польше». Тому самому, за которое он и дал свою знаменитую пощечину Карлу Семеновичу.

Что было дальше, Плюша уже помнила сама. На ее глазах все было. На ее вот этих серых, чуть водянистого оттенка глазах.

Плюша глядит в стекло купе. На свое отражение и темные деревья в снегу, которые пролетали быстрее, чем Плюша успевала на них сосредоточиться.

Вернулась, лязгнув дверью, Натали. Вывалила свежие новости: Геворкян отделался штрафом. Натали стала тут же ему звонить, но пропала связь. «Это надо закурить!» — снова вышла.

Плюша уткнулась в колючую поездную подушку. Налетел, застучав и замелькав в окне, встречный. Плюша вздохнула и достала из пакета вязанье.

Если по порядку... А Плюша ценила порядок, хотя и не умела его создавать. Так вот, если по порядку, то нужно вернуться к той самой осени, когда Плюша то сидела в архиве, делая выписки для Ричарда Георгиевича, то бегала к Карлу Семеновичу и давала ему бессмысленные обещания, и все время лил дождь.

Кончилось тем, что она связала две одинаковые салфетки: одну для Карла Семеновича, другую для Ричарда Георгиевича. Карл Семенович принял ее дар шуточно: «Мерси... Вы бы лучше составили библиографию...» Ручку, однако, поцеловал. А Ричард Георгиевич повертел салфетку и сунул в портфель.

Плюша решила, что это знак свыше.

Несколько дней она не отвечала на звонки Геворкяна, заставляла мамусю некрасиво лгать в трубку, в архив не ездила.

Съездила в музей.

В центре зала была расстелена тряпка, на ней стояло ведро.

В ведро медленно капало. Плюша обошла его и подошла к своей «Девушке и Смерти».

Что-то изменилось в картине. Или просто освещение другое.

Плюша попятилась назад. Попробовала сбоку. Чуть не опрокинула ведро.

Смерть обнимала девушку. Девушка с ужасом отстранялась. С ужасом? Скорее, вежливо. Пухлые пальцы и отталкивали, и одновременно ласкали страшный остов. Белокурая головка была запрокинута, рот полуоткрыт, в чуть скошенном взгляде играло лукавство.

Кабинет, где надо было раздобыть библиографию, был закрыт. Плюша постояла перед дверью, достала булочку и съела. Устав от впечатлений, пошла к выходу.

Возле остановки на нее налетел мокрый Геворкян.

Плюше захотелось сесть на корточки и прикрыться зонтом.

Вместо этого она решительно спросила, зачем Геворкян дал пощечину Карлу Семеновичу.

Геворкян задумался:

— Давайте зайдем в пирожковую... Вы вся мокрая.

У Плюши действительно намокло плечо, а Геворкян был вообще без зонта.

Внутри пирожковой было многолюдно, из-за дождя. Они сели за неубранный столик.

— Я виноват перед ним, — сказал Геворкян. — Он не был провокатором. Провокатором был другой.

Плюша чувствовала резкий запах из его рта, какой бывает у курильщиков.

— А он просто подписывал. Подписывал все, что ему давали. Но там многие подписывали. Недавно это выяснил. Готов перед ним извиниться, — закончил Геворкян.

Подошла женщина и забрала стаканы.

— Хотите пирожков? — спросил Геворкян.

Плюша вспомнила булочку, съеденную в музее, и сказала, что она обедала.

Потом они ели пирожки. Она все-таки согласилась на один и на стакан какао. Ей это было сейчас нужно.

— А что вы вспомнили о той пощечине? — спросил Ричард Георгиевич. И, не дожидаясь ответа: — Простите за нескромный вопрос, он не предлагал вам выйти замуж?

Плюша вспотела и расстегнула плащ. Помотала головой.

Просидели еще немного. Геворкян рассказывал о Фоме Голембовском, поляке, принявшем православие почти перед самой революцией. А до этого он был врачом-венерологом.

— Крестили его прямо здесь... На месте этой пирожковой была церковь.

Имя Голембовского Плюша уже слышала и старалась слушать внимательно. Но от пирожка и какао страшно хотелось спать. В голове плавали картины, как она выходит замуж за Карла Семеновича. А Катажина, с глазами, полными слез и зависти, накрывает им на стол. Плюше становится ее жалко, и она обнимает ее и гладит...

Они вышли из пирожковой.

— Ваше произведение я ношу с собой, — пошарив в портфеле, Геворкян достал мятую Плюшину салфетку.

— История — сложная и запутанная штука, — добавил, когда они проходили коммерческие ларьки.

Шли они под Плюшиным зонтиком: все еще капало. Зонт держал он. Потом остановился у одного кио-

ска, купил себе новый. Теперь они шли раздельно: он под своим, она под своим. Плюша начала прощаться: да, она будет снова ходить в архив. Она просто болела!

«Мне нравится, что вы больны не мной...» Плюша глядит, как Геворкян переходит дорогу. Его зонтик слегка подпрыгивает, потом исчезает среди других. «Мне нравится, что я больна не вами...»

Плюша думает следующее: Геворкяна она, конечно, на свадьбу позовет. К тому времени они помириятся с Карлом Семеновичем. Она приложит к этому все усилия.

Боже, как смеялась над этим Натали. Как хохотала, когда Плюша ей рассказывала. Натали была, правда, уже подогретой: на столе стоял вермут. А в таком состоянии Натали становилась смешливой и мягкой.

Дело было в квартире Натали, после ремонта. Все сверкало чистотой и удобством.

Устав от смеха, Натали легла на диван.

— Плесни-ка, — протянула фужер.

Плюша засомневалась. Может, достаточно? Она старалась немного сдерживать подругу... Натали продолжала тянуть руку с фужером, помотала им.

Плюша попыталась добавить строгости в голосе:

— Завтра плохо будет.

— А само это «завтра» — будет? — зевнула Натали.

Плюша взяла бутылку, потянулась за фужером, но Натали выпустила его раньше...

— Ну вот, — вздохнула Плюша, — теперь осколки собирать...

Натали деловито матюгнулась и слезла с дивана:

— Стой там... Сейчас соберу, говорю!

Протопала на кухню, вернулась с тазиком. Плюша отошла подальше.

— Так в итоге, — говорила Натали, собирая осколки, — ты его решила окрутить, я не понимаю?

Плюша обошла Натали и забралась на диван. Диван был большим и еще теплым после Натали.

Ничего она не решала. Просто хотелось...

Натали поняла по-своему:

— Ну да. Всем по молодому делу хотелось... — Она уже почти собрала с пола все стекло. Подняла голову. — Только он же старик уже был?

Да, он был старик. И старел все стремительнее: почти не вставал. Пару раз Плюша кормила его с ложечки.

Иногда она ловила на себе взгляды Катажины.

Готовила Катажина все еще очень вкусно. Плюша хотела потренироваться с кулинарией дома, чтобы тоже блеснуть, но все не получалось. Возвращалась из архива выжатая, сил хватало только на ужин и на поругаться с мамусей. Мамуся считала, что Плюша должна пойти куда-то работать: деньги, которые давал Геворкян, казались ей подозрительными.

— Да и мало... — добавляла мамуся.

Плюша уходила в свою комнату и хлопала дверью.

Сама мамуся тоже была как бы безработной; их кабэ тихо умерло, народ разбрелся кто в челноки, кто в «Гербалайф». Мамуся тоже куда-то ездила и чем-то занималась; куда и чем, Плюша, занятая своей сложной жизнью, не интересовалась.

Сложная была осень.

Приближалось самое холодное и враждебное Плюше время года. Гардероб, как всегда, был застигнут

врасплох: не оказалось подходящих сапог. Плюша ходила в старых и страдала.

Плюша ездила в архив, погружаясь во все новые польские биографии и переломанные жизни; архивные работницы уже привыкли к ней и поили чаем.

Геворкян развелся, чем немного растревожил Плюшино воображение, но скоро женился на какой-то журналистке, и любопытство само собой погасло. Как мужчина он Плюше и не особо нравился: какой-то слишком толстый, деятельный, выбритый. Часто теперь выступал по местному телевидению — на улице, когда они шли с Плюшей, его узнавали. А вскоре уехал в Германию на конференцию; Плюша только вздохнула. Германия, Дрезденская галерея...

Мамуся покрасилась и сделала «химию». Один раз, вернувшись раньше обычного, Плюша обнаружила в квартире постороннего мужчину и мамусю в халат-кимоно, который она не надевала уже сто лет. Такого Плюша от нее не ожидала. Больше, правда, этот товарищ не появлялся. К весне мамусины кудельки снова поседели и распрямились и сама мамуся стала прежней, заботливой и печальной. Плюша успокоилась.

Она решила сообщить Карлу Семеновичу о своем знакомстве с Геворкяном. Только про архив пока не говорить. Карл Семенович выслушал и ничего не сказал.

Другой раз она сказала, к слову пришлось, что Геворкян сожалеет о той... о том... (Плюша не сразу подобрала слово) ...о том инциденте. И готов принести извинения. И снова Карл Семенович рассеянно промолчал.

Плюша сходила с мамусей на вещевой рынок, купила себе сапоги и несколько дней чувствовала себя



человеком. Пошла в этих сапогах к Карлу Семеновичу.

Дверь открыла Катажина и заслонила собой вход:  
— Карл Семенович спит после укола, — сообщила свистящим шепотом.

Плюша удивилась.

— И еще я хотела сказать, что Карл Семенович не переносит звука падающих книг. А вы уже два раза роняли у него книги!

Плюша поглядела на закрывающуюся дверь и стала медленно спускаться. Постояла под кариатидами.

Когда она роняла книги второй раз, она не помнила. Первый помнила, второй — нет.

Подвернувшийся троллейбус довез ее до музея.

Там она и осталась. Экскурсоводом. Написала заявление, ей определили зарплату... стыдно даже вспоминать какую.

Ты же этого хотела, сказала она вечером мамусе.

Мамуся молча чистила картошку и пускала ее в кастрюлю с водой.

В о п р о с : Расскажите подробно, где и при каких обстоятельствах вы перешли границу.

О т в е т : 13 октября 1931 года вечером я вышел из дома с целью перейти границу СССР. До границы было километров семь. Ночью я свободно перешел ее и был задержан часовым у заставы, куда я шел. На другой день был допрошен в комендатуре и был направлен в погранотряд.

В о п р о с : Цель вашей нелегальной поездки в СССР?

**Ответ:** О СССР я знал мало, и я ехал, чтоб там жить и работать.

**Вопрос:** На допросе после вашего задержания вы ответили, что перешли границу с целью уклонения от службы в польской армии. Почему вы даете противоречивые показания?

**Ответ:** Я не мог помнить дословно причину перехода, которую я указал на первом допросе, так как с того времени прошло шесть лет.

**Вопрос:** Кто знал о вашем намерении нелегально перейти границу?

**Ответ:** О моем переходе границы знал Данилевич Ян, который мне советовал жить в СССР. Знал Тадеуш Мадей, знали все мои близкие.

**Вопрос:** Известно ли вам, что ваши товарищи Мадей и Данилевич привлекались дефензивой? Почему они советовали вам поселиться в СССР, а сами почему-то остались тогда в Польше?

**Ответ:** Я этого объяснить не могу.

**Вопрос:** Итак, ваш товарищ Мадей является агентом польской дефензивы и, в свою очередь, вербовал вас. Признаете вы это?

**Ответ:** Меня Мадей не вербовал. Возможно, он и является агентом, я этого не знал.

**Вопрос:** Тадеуш Мадей как агент дефензивы был заинтересован в том, чтобы вы поселились в СССР, о чем вы признали в предыдущих показаниях. Какое задание по шпионской деятельности вы получили от Мадея перед переходом границы в СССР?

**Ответ:** За два месяца до перехода через границу Мадей дал мне письмо к своему знакомому в Минске, в котором он характеризует меня как своего дру-

га и просит устроить меня на работу. Что касается шпионских заданий, то от Мадея я никаких не получал.

В о п р о с : Состоялась ли явка у знакомого в Минске, куда вас направил с письмом Мадей?

О т в е т : Письмо у меня было изъято в комендантуре; позднее, находясь в Минске, я по указанному адресу явиться не мог, так как сидел в ДОПрЕ.

В о п р о с : Какую шпионскую деятельность вы проводили и как дефензива планировала вас использовать на случай войны с СССР?

О т в е т : Никакой шпионской деятельностью я не занимался. Возможно, дефензива и рассчитывала меня использовать как резерв на случай войны, но мне об этом ничего не известно, и я на это никогда не пошел бы.

— И его тоже тут расстреляли, этого вашего Новака... — Ричард Георгиевич аккуратно ступал на подтаявший снег. — Место здесь было глухое, удобное.

На нем была его теплая кепочка, и весь он как будто еще пах Германией, откуда недавно вернулся. Плюша шла рядом.

— Тут был небольшой лесок, — остановился, прищурил глаз. — Вырубили в войну. Новый так и не вырос... Только вон борщевик торчит, символ нашей нестибаемости... А я не знал, что вы здесь живете.

Плюша показала вязаной перчаткой окошко. Другой рукой придерживала папку с выписками.

— Угрозидило же вас.

Плюша ответила, что привыкли.

— Привыкли... — хмыкнул Геворкян.

Издали слышались какие-то песни и перекаркивание ворон. «Белые ро-озы... Белые ро-зы...» Хлопнула дверца машины, «Розы» замолкли. Остались только вороны и скрип снега.

Плюша вспомнила, что Новак умер в лагере от крупозного воспаления легких.

— Всем так писали. У них список был болезней этих, какие писать, если кто-то из родственников, там, присылал запрос. А они все здесь лежат... Не замерзли?

Плюша помотала головой: она была одета, как капуста.

Они собирались делать в музее выставку, посвященную репрессиям. Один раздел будет посвящен ее полякам.

Обойдя поле, они пошли к остановке. Плюша извинилась, что не может пригласить к себе.

Они стояли на остановке.

Плюша задала вопрос, давно уже в ней сидевший. Зачем надо было уничтожать такое количество людей?

— Это было общество ада. А у ада своя логика. Нам, к счастью, недоступная. — Геворкян почти вплотную придвинулся к Плюше. — Теперь главное — взять разрешение на раскопки. Летом будем копать...

Плюша кивала и вежливо отодвигалась.

Ричард Георгиевич сел в автобус. Плюша не могла решить, помахать ему ладошкой или нет. Решила слегка помахать. По дороге домой думала, успел ли Геворкян это заметить.

Разрешения на раскопки так и не дали. На поле собирались строить торгово-развлекательный комплекс с сауной, джекпотом и бильярдом. Геворкян уже даже видел проект.

Плюша не забывала дом с кариатидами. Проезжая иногда мимо, поглядывала в заветное окно: пыталась нарисовать себе, что происходило там, за плотными штобрами. Замок волшебницы Катажины, в котором томился Карл Семенович, не подавал признаков жизни. Несколько раз Плюша начинала набирать номер, чтобы просто узнать о здоровье... Недонабрав, вешала трубку.

Выставка о репрессиях прошла прекрасно. Показали даже по какому-то московскому каналу, в кадр попала Плюшина спина.

В музей стали приходить люди, приносить вещи и фотографии репрессированных. Даже из-за границы.

Дом с кариатидами молчал.

С левого бока дом пережил ремонт и засиял канареечной желтизной: эту часть выкупил какой-то бизнесмен. Кариатид тоже почистили: стали неестественно-белыми. Возле дома парковались иномарки, большие, темные, с колючими бляками на черном лаке.

Мамуся вошла в дачный возраст, стала ездить копать в земле. Своей дачи у них не было, ездила к подругам, помогала им. Возвращалась оттуда с ведром картошки или с георгинами, не влезавшими в вазу, или с травами. Звала с собой Плюшу: развеешься, отдохнешь... Плюша из вежливости съездила один разик. Не развеялась и не отдохнула. Земля, комары, густая крапива — это было всё не ее. По выходным Плюша гуляла по городу или просто по квартире, из одной в комнаты в другую. Устав от такой прогулки, садилась за рукоделие.

— Знаешь, кого видела? — Мамуся стояла в коридоре, еще в дачной одежде. — Отгадай-ка... Карла Семеновича!

Карл Семенович жил на даче. Чьей? Своей. У него оказалась дача. «Большая» — мамуся раздвинула руки. По соседству с той, на которой мамуся несла трудовую повинность. Профессор подошел к ограде и сказал несколько приветливых слов, пока мамуся вставала со своим радикулитом с грядок и отряхивалась.

— О тебе спрашивал... — Мамуся выкладывала из потертой сумки яблоки. — Удивлялся, что ты пропала. Приглашал к себе приехать. У него там молодежь собирается.

Плюша глядела на яблоки и молчала. Что она могла сказать? Мамуся выложила все дары природы.

— Дача хорошая. Гамак есть. Собака только злая.

Справившись с первым приступом удивления, Плюша присела на табурет.

Карла Семеновича она представляла тихо умирающим в квартире или, на худой конец, в какой-нибудь высокопоставленной больнице. И тут вдруг на тебе: дача, собака, молодежь какая-то...

В следующую пятницу Плюша, сходя в парикмахерскую, отправилась туда с мамусей. В автобусе сильно трясло, читать Пруста, которого Плюша уложила в сумку, не получилось. Приходилось наслаждаться видом за окном и слушать такие же унылые разговоры попутчиков. Мамуся спала рядом, приоткрыв рот.

Оставив мамусю ковыряться на грядках, Плюша пошла к соседнему дому.

Звонка не было. Плюша стояла, вглядываясь в зелень. Запуршал дождь, залаяла собака.

— Цери! Цери! — послышался знакомый голос со стороны дома.

Плюша прижала к себе Пруста, которого для чего-то взяла с собой.

Мелькнул блик открываемого в глубине окна. Собака неохотно замолкла.

На Плюшу, шаркая длинными ногами, шел Карл Семенович. Он еще больше похудел, впереди болтался небольшой, жалкий живот.

— Я ждал вас, — сказал Карл Семенович, целуя ей ручку.

Когда они шли к дому, мимо корыта с дождевой водой и гамака, пес залаял снова.

— Это Цери, — представил его Карл Семенович. — Полное имя Цербер.

У него три головы?

— Одна, и очень глупая...

Они пили кофе на заставленной мебелью веранде.

— Я себя полностью обслуживаю. Два раза в неделю приезжает Катажина. Привозит припасы, готовит, стирает, устраивает эти ужасные уборки...

Плюша сочувственно кивнула.

— В остальном обхожусь совершенно самостоятельно. Цербер меня охраняет день и ночь... Катажине, — снова помрачнел, — сейчас надо быть в городе, смотреть за квартирой и книгами. Я там находиться не могу. Один ремонт, другой. То снизу, то в соседней квартире. Ужас. У меня все трясется, книги падают...

Услышав про книги, Плюша на всякий случай отодвинула Пруста от края стола. Ей все еще хотелось, чтобы Карл Семенович увидел, с какой книгой она пришла.

— Но тут я ожил. Природа меня спасла. Природа и молодежь, которая возле меня собирается.

Карл Семенович предложил осмотреть его владения. Плюша увидела еще несколько светлых и нежилых комнат и познакомилась с туалетом. Потом они поднимались по узкой лестнице. Дыхание профессора, шедшего следом, щекотало спину.

— Вот это будет ваша комната. — Карл Семенович распахнул дверь.

Половину мансарды занимала большая, запущенная кровать: на ней, по виду, лет двадцать никто не спал. К стене было прислонено зеркало. Как и в других комнатах, были журналы и книги, сложенные стопками. Плюша замялась.

— Ну как? — Карл Семенович стоял, потирая ладони.

Она не могла сразу подыскать слова, чтобы отказаться. Впрочем, с другой стороны... Она была даже рада. Немного. Хотя и не знала, чему именно.

Дождь перестал. Плюша походила вокруг клумб с мокрыми цветами, встретила гамак и слегка покачала его рукой. Гамак был тоже мокрый и склизкий.

Увидела мамусю за сетчатой оградой.

Мамуся была освещена солнцем и что-то выдерживала из земли.

— Ну как, общаетесь? — поднялась.

Плюша ответила, что общаются. На научные темы.

— Когда придешь?

Плюша сказала, что, наверное, останется: помочь надо.

— Неудобно, — вздохнула мамуся и снова занялась землей.

Плюша вернулась в дом; после бутерброда в автобусе ничего не ела.



Холодильник был заставлен пакетами с молоком и кастрюлями. Плюша достала докторскую колбасу. Нерешительно подержала ее и положила обратно.

— Я хочу, — раздался за спиной голос Карла Семеновича, — чтобы вы приготовили что-то вкусное своими руками.

Плюша вначале испугалась, потом пришла в себя и даже пожарила яичницу. И еще две котлеты, найденные в холодильнике.

Котлеты они ели при свечах.

Свечи Плюша тоже отыскала сама и обдула от пыли. Разговоров за ужином было мало; они загадочно молчали и пережевывали пищу.

Карл Семенович уснул прямо в столовой, Плюша накрыла его тяжелым одеялом и вышла во двор, отдохнуть от хозяйских забот. Залая Цербер.

— Остаешься? — Мамуся стояла у калитки в чужой мужской куртке.

Плюша кивнула.

— А я грибов нажарила... — сообщила мамуся печально.

Они пожелали друг другу спокойной ночи. Все это время лаял Цербер.

Тихо, Цери, тихо... Собака замолкла и загремела цепью. На всякий случай Плюша обошла конуру. Будить Карла Семеновича и спрашивать про постельное белье не стала. Стянула со стола скатерть, это и будет простыня.

Спала Плюша тяжело. Слышала снизу храп Карла Семеновича. Казалось, это говорят несколько человек, она отчетливо расслышала: «Млода Польска». И еще раз: «Млода Польска».

Потом храп прекратился, заскрипела лестница, Плюша зарылась в одеяло. В дверь постучали.

Вошел Карл Семенович, замотанный в одеяло, как в мантию.

— Вы опять уронили книгу! — сказал он сурово.

Плюша высунула голову: на полу валялся Пруст.

Карл Семенович поднял книгу и повертел в руках.

Резко швырнул ее на пол:

— Слышите?..

Она шла, теплая и голая, к лесному ручью. Вода поблескивала, ветер опускал, поднимал и снова опускал ветви, трогал лицо, грудь, живот, щекотал ноздри на вдохе, дышать было весело.

Палые сосновые иглы и песок под ногами.

Ручей.

Еще ближе ручей.

И совсем близко: ручей.

— Здравствуй.

— Здравствуй. — Она не удивляется.

Она привыкла к их встречам у самой воды.

Привыкла к его тяжелому запаху. К его скользким рукам и почти оголенному черепу.

Другая бы не привыкла, а она вот смогла. А что было делать? Где еще найдешь по нынешним временам себе дружка? Еще из благородных.

— Вчера троих свезли... — болтает она ногой в ручье. — Пан ксендз отпел, потом проповедь говорил. В замок теперь никого не пускают, но все равно... Дочь магнатская, говорят, тоже уже того...

— Я там побывал вчера, — бросает он.

Она чуть ревниво скашивает глаза, но молчит. Молодая пани, говорят, была красива, как солнце. Стало быть, он ее тоже поцеловал. Да и обошлось ли все одним поцелуем, не потешился ли ее дружок с ней?

Помолчала, опустила в ручей вторую ногу:

— А в жидовской слободе половина вымерла.

— Туда я не хожу. Туда брат мой захаживает: пузатым жидом нарядится и...

— Я и не знала, что у тебя брат есть, — задумалась, представив.

— Есть, и сестра... Мы же тоже рождаемся. И стареем. Как люди. Только слегка по-другому.

И тянется: на поцелуй.

Она же, присев в ручье, смеется и брызгает в него водой.

Нанежившись, они лежат на траве, лицами в небо.

— Боюсь я.

— Чего? Пока ты со мной, ты будешь жить.

— Боюсь, — повторяет, пряча лицо в его истлевший плащ. — Просто боюсь...

Пытается заплакать, но слезы не желают течь, и очи остаются сухими.

— Да вот. — Он приподнимается и берет ее руку. — Гостинчик тебе принес, — натягивает на палец колечко с алым, как кровь, камнем.

— Ой, красота, — охает она, вертя пальцем.

— Вчера с одной пани снял... Хоть нам по службе это и не положено. Но оно ей уже не в надобу.

— Красота-красота... — не слышит она, делая рукой разные танцевальные движения. — Еще бы зеркальце сюда!

— Нам нельзя зеркало... — замолкает, почуяв, что сболтнул лишнего. Поглядывает: не услышала ли? Нет, с безделушкой новой возится, глупичка... Или услышала? Тяжко при его службе влюбленным быть, каждое слово, как жиду-аптекарю, на весах взвешивать надо.

Месяц над горой лесистой поднялся, вестник прощания. Любовники подержали друг друга за руки, повздыхали, как положено. Она натянула платье, поправила волосы. Он кликнул коня черной масти. Отъехал не сразу: поглядел, как исчезло платье ее среди темнеющих стволов. Может, что-то все же услышала?..

— Познакомлю-ка я тебя с моим братом...

Яростно хлестнув коня, ускакал.

Через два дня пан ксендз отпелал некую девицу, последнюю из оставшихся в живых на Замковой улице. Перед кончиной несчастная долго исповедовалась и передала в дар церкви несколько украшений. Среди них привлекало внимание кольцо с кровавым камнем.

Еще через несколько дней два ученых брата-доминиканца заманили Чуму в зеркальную комнату; прочитав молитвы, обложили осиновыми дровами и сожгли. Поветрие пошло на убыль и вскоре утихло. Было достойно удивления, что Чума, обычно хитроумно избегающая ставимые ей ловушки, так легко на сей раз позволила поймать себя и, даже попаляемая огнем, не визжала и не пыталась вырваться...

— А вы слышали про зеркальную комнату?

Плюша помотала головой.

Была еще ночь или совсем раннее утро. Часов не было, за окном тяжело лил дождь. Карл Семенович сидел на краю кровати; она смотрела на его темную сутулую спину.

— Про нее нигде не писали. — Спина пошевелилась. — А она была.

Плюша спросила, что это была за комната.

— Никто не может сказать. Кого туда помещали, или лишались ума, или всё быстро подписывали, чего от них хотели. А потом не помнили о ней ничего. Абсолютно ничего, кроме ужаса, который она внушала.

Разве зеркало может внушить ужас? Плюша поглядела на зеркало в углу.

— Обычное — нет... НКВД находился в бывшем особняке Стаковского. О Юзефе Стаковском вы, надеюсь, слышали? Хорошо, верю. Хотя не знаю, что вы там слышали. Рассказывают разные... выдумки. Что он был чернокнижник; это бред. Я его видел. Он занимался текстилем. Страшно разбогател, выстроил фабрику. И особняк. В этом особняке у него было несколько тайных комнат для развлечения гостей — мода такая была. Тогда все были немного чернокнижниками. Спиритизм, разные фокусы. Но с ума у него там никто не сходил. Так, слегка попугать, пощекотать нервы тогдашнему крэм дэ ля крэм... Сливкам общества, — поймав взгляд Плюши, перевел.

Плюша кивает, глаза закрываются, ей холодно, особенно носу. Сквозь дождь слышатся слова Карла Семеновича:

— Я не был в зеркальной комнате. Меня посадили в Колодец.

Дождь покрывает холодным глянцем мостовую. От редких фонарей тянутся по ней пунктирные желтые линии. В бывшем особняке Стаковского горят окна:

ночь здесь как день, а день как ночь. Где-то тарахтит пишущая машинка и сдвигают каретку.

Молодой Карл Семенович поднимает голову; на нем круглые маленькие очки. Он студент педагогического института. Или уже бывший студент? На первом допросе он все отрицал. Теперь он в Колодце — неглубокая, метров пять, узкая шахта. Места хватает только повернуться или сесть на дно, поджав ноги.

Он садится на дно и поджимает ноги, светит лампа.

Самое тяжелое, что нет книг. Он не может без чтения. Он живет, ходит по улице, ест с книгой; над ним смеются товарищи, плевать. Слышите? Пле-вать. Если бы здесь была книга, было бы не так тяжело, не так тяжело, не так...

В потолке открывается люк, из него вываливается книга и падает ему на плечо.

«Матка Боска... Лев Толстой, “Война и мир”»!

Потирая ушибленное место, он набрасывается на книгу. Счастье. Счастье. Так, наверное, курильщик после долгого некурения набрасывается на сигареты. Или вернувшийся ночью после отлучки муж — на сонную и теплую жену.

Несколько минут он стоял, ввевшись глазами в страницы. Тюрьма, допрос, следовательно — все это отступило. Впрочем, нет. Не отступило, но наполнилось новым смыслом. Вот она, забота о человеке и его духовных потребностях, весомая и ощутимая, как эта обложка с тиснением...

В потолке снова лязгнуло.

На этот раз он успел увернуться, книга упала рядом. Он наклонился, поднял: «Справочник по ку-

роводству», поглядел, прищурясь, навверх. Положив справочник вниз, в ноги, вернулся к Толстому.

Следующая книга больно ударила по затылку. Нагнуться за ней не успел: сверху полетела следующая.

Он крикнул «эй!» или что-то такое; крик исчез в тяжелом барабанном шуме: люк сверху распахнулся, книги понеслись лавиной. Достоевский... Брокгауз и Эфрон... Старые польские журналы... Он пытался увернуться, карабкаться по ним, выбрасывать обратно вверх, из шахты; вскоре они затопили его, задавили, лишили движений и воздуха. Последняя попытка прорыгаться кончилась неудачей; он дернулся, еще раз крикнул и затих.

Очнулся в кабинете у следователя. И подписал все, что ему давали. И здесь... И еще вот здесь. И вот тут. «Ну вот и славно», — сказал ему следователь своим большим ртом.

Как ни странно, его выпустили. Остальным членам «террористической группы “Млада Польска”» дали разные сроки. Больше никого из них он не видел. Эти молодые люди, ловко танцевавшие в городском саду фокстрот, эти блондины и шатены, неврастеники, болтуны, эрудиты, собиравшиеся на огонек и беседовавшие о культуре, — все они вдруг исчезли. Кроме него.

Два года он не мог прикасаться к книгам, даже просто их видеть. Брал частным образом сеансы лечебного гипноза.

Как-то встретил на улице старого Стаковского. Бывшего текстильного короля почему-то не трогали, он служил в какой-то конторе, желтый и трясущийся.

— Мы были знакомы, мне не понадобилось представляться. Он очень испугался. «Откуда вам известно?..» Я пояснил — откуда. Он долго молчал. А потом рассказал — немного. Аттракцион назывался «Колодец счастья». Засыпать человека тем, что он больше всего любит. Нет, не слишком, не так... Очень забавно рассказывал, как одну нервную даму завалило пирожными и как она пицала и кричала. А одного гимназиста — порнографическими карточками, голыми куколками и...

Плюша приоткрыла глаза. Ей было жалко себя, жалко Карла Семеновича и эту ночь на чужой кровати. Она собралась встать, но вместо этого вздохнула и заплакала.

Карл Семенович обратил внимание на ее слезы и погладил Плюшу по голове.

Плюша вытирала лицо об одеяло и говорила, что она плохая.

Карл Семенович перестал гладить и сказал, что она хорошая. И еще что-то отеческое, что обычно говорят старые и бесполезные мужчины.

Они завтракали холодным кефиром и подсохшим хлебом, скатерть была возвращена с кровати на место.

— В двенадцать должна приехать Катажина, — говорил Карл Семенович, отирая губы салфеткой, — нужно все убрать. Не надо, чтобы она видела, что вы тут были: она так заботится о моем здоровье...

Плюше пришлось вымыть посуду.

— Приезжайте еще, — сказал Карл Семенович. Он вышел ее проводить.



Плюша перепутала дорожку и чуть не набежала на конуру Цербера. Его лай долго бил ей в спину.

— Ну что, — сказала мамуся, усадив ее за стол. — Грибы будешь?

Мамуся пошла разогреть грибы, Плюша сонно слонялась по комнатам, разглядывая лежавшие на стульях и подоконниках вещи. Игольницы без иголок, помятые иконки, лекарства...

А это что? Она стояла перед мамусей и держала в вытянутой руке фотографию.

На фотографии был Карл Семенович. Изображение его было закапано воском, крест-накрест.

— Не знаю. — Мамуся продолжала машинально помешивать грибы. — Что смотришь? Не знаю.

— Так ты тогда все поняла? — спрашивала Натали.

Нет. Не совсем тогда. Немного позже. Плюша сильнее виснет на руке Натали и ищет глазами скамейку.

Центр тогда начали отмывать и перестраивать. Поубирали киоски, подлатали асфальт; исчезли лужи с досками и кирпичиками для переправы, появились азиаты с метлами. Это был две тысячи четвертый или пятый; об этом говорит пончо на Плюше, сменившее в те годы ее старый заслуженный плащ, и мобильный телефон в руках Натали.

Возле дома гулять было негде, поле так и стояло, огороженное забором. Теперь там собирались возводить жилой комплекс. Геворкян продолжал биться о невидимые стены, разрешения на раскопки не давали, чтобы не отпугивать потенциальных жильцов,

если вдруг пойдут черепа и кости. «Но ведь о поле и так все знают!» — kloкотал Геворкян. «Ну, это пока только слухи», — отвечали ему в кабинетах и поднимались, давая понять, что прием окончен.

В эти годы Плюша с Натали полюбили прогулки. Натали парковалась на Калинина, дальше двигались пешком. Иногда брали по рожку итальянского мороженого, которое вдруг появилось в городе, а потом также внезапно исчезло, а иногда просто шли, дыша воздухом и разговаривая. Плюша отдыхала от компьютера, который тогда приходилось интенсивно осваивать, Натали тоже отключалась от своих дел.

Натали заводила Плюшу во дворы и показывала липу, на которую когда-то залезала от Гришки и его шайки; липа стояла до сих пор, старая и пыльная. Плюша в свою очередь показывала место, где был их деревянный дом и где теперь торчала многоэтажка. Поглядев неодобрительно на многоэтажку, шли дальше.

Длинные и крепкие ноги Натали были лучше приспособлены для таких походов, да и кроссовки ее тоже не сравнить с Плюшиными «лодочками». Плюша уставала, просила присесть где-нибудь. Натали соглашалась.

Как-то Плюша спросила о ее, Наталийкиной, маме, когда они уселись на скамейку. Плюша — подложив газетку, а Натали — просто так.

Наталийкину мать Плюша помнила смутно: была такая, во двор выходила редко.

— А я ее сама по детству как-то плохо помню, — говорит Натали, закуривая. — Красавица была, когда

молодая. Жаль, фоток не осталось, все у брата. Говорю ему: дай, хоть копии сделаю...

О брате Плюша прежде не слышала.

— А что о нем слышать? Что он мне хорошего сделал? Я мужа-инвалида и сына одна вот этими руками тащила, он мне хоть рублем... хоть копейкой помог? Брат старший... Тьфу!

К скамейке слетались голуби, подходили, курлыкали. Жалко, хлебушка с собой не взяли...

— Перетопчутся без хлебушка. — Натали стряхивает пепел в урну. — Их тут бабульё подкармливает, вон какие жирные отъелись... Мать у меня русской красавицей была в молодости. Глаза — во, грудь — во... Сестра в нее пошла.

О старшей сестре Плюша уже слышала: как-то Натали говорила с ней при Плюше по телефону. Разговор был шумным, сложным.

— Да не, нормальная она. — Натали докуривала. — Живет вот только с этим своим... Есть мужики, на которых у меня просто аллергия. И мать ей говорила: «Гляди, Верка, внимательно, за какое говно замуж идешь!» Мать тоже умная была, когда хотела.

Мать Натали никогда особо не любила — неулыбчивая, вечно какая-то утомленная. Вот отец, папаниа — другое дело. Мог, конечно, и попу надрать, но это редко. И малышней их на шею сажал, и на мотоцикле покатает, и нос подотрет. Мать придет с работы — санитаркой работала, — бух на диван: всё, не тронь. В телик уставится или в «Работницу», всхрапнет и снова в телик. Опять всхрапнет, опять в телик. Иногда ведро супа сварит или сор под кровати и под

шкафы заметет, а так всё на диване. А отец прибежит с авоськами, давай картошку варить, и так варил, и смяк, и с лучком, и с селедкой иногда. А мать... Поглядит только с дивана: «Ты хотя б руки помыл, перед тем как готовить?..»

— Микробами нас все детство пугала, бактериями... — Натали потягивается. — А что ты меня про мать-то спросила?

Плюша пожимает плечами: просто.

Наталийкиного отца, дядю Толю, она помнит по детству. Тот самый, что сдутые шарики в карман складывал.

— Они чипсы жрут, как думаешь? — Натали достает из кармана мятый пакетик.

Голуби клюют чипсы, прилетают новые.

— А когда папани не стало... Ну, куда лезешь? — Натали отогнала голубя.— ...Пятьдесят пять, еще в самом соку был мужик. И всё, сторел, непонятно от чего. Раз — и нет.

Голуби по-хозяйски шумят возле ног.

Плюша говорит, что это всё — поле.

— Фигня! Что вы всё с этим полем, как эти... «Поле, поле...» Вчера иду, мужик какой-то через забор оттуда, за ним еще один... Человек пять. Вымазанные все. Откуда, говорю, такие красивые? Экскурсия! Там у них свой этот... сталкер есть, худой такой...

На соседнюю скамейку садится женщина с мальчиком, сыпаются крошки. Голубиное стадо перемещается туда.

А похороны Наталийкиной матери Плюша не помнит.

— А что их помнить? До сих пор жива, еще нас всех переживет, в Колбино своем!

А что там в Колбино?

— Частный дом престарелых, — глядит Натали в землю. — Не слышала, когда открывали?

Нет, Плюша не слышала.

— Вначале одна жила. После смерти папани вообще ушла в телик; приедешь, на тебя не посмотрит, только если с ней вместе смотреть и ее комментарии слушать. Потом меня к себе жить затребовала, ей же надо, чтоб заботились. Хорошо, я тогда уже от Антона освободилась, поминки все провела, переехала к ней. Пять дней убиралась, так все какашками заросло. Телик ей новый купила, тогда только самые первые плоские пошла. А ее вдруг руководить мной потянуло. Все детство по барабану было, какая я расту, а тут вдруг «с добрым утром, тетя Хая...» Про чистые руки у нее всегда пунктик был, а теперь началось еще про одежду, про манеры. Ну я, раз такая каша пошла, тоже не молчала, ты ж меня знаешь.

Плюша кивает.

Натали шумно, по-богатырски чихает, оставшиеся голуби разлетаются.

— Через год брат ее к себе забрал, у него как раз комната от старшей дочери освободилось, замуж за одного придурка выскочила, вот он мать туда, с теликом. И я деньги давала, чтоб кормил ее не говном всяким. Пять месяцев выдержал, звонит мне. Решили ее к Верке, она тем более детский психолог, думали, может, найдет с ней язык... Слушай, давай двинем, а то уже холодно сидеть что-то...

Они поднимаются со скамейки, Плюша забирает нагретую газетку, на которой сидела, и кладет в сумку, оправляет пончо. Ноги успели отдохнуть, но напоминает о себе мозоль, и вообще, уже темнеет.

— Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать, — Натали щиплет Плюшу за руку.

Они перебираются в бывшую «Бригантину», где теперь бир-хауз, Натали берет себе свое нефильтрованное, а Плюше заказывает коктейль.

— Верка только два месяца выдержала с матерью. Может, и больше смогла, так этот ее стал истерики закатывать. Притом что и деньги я опять им давала, и когда он пьяный ко мне еще при живом Антоне лез, не стала Верке жаловаться, а могла бы, вообще, им семью разрушить, Верка бы мне потом только спасибо за это сказала... Короче, говорю им: хватит в футбол матерью играть, давайте решать, и чтоб ей было спокойно, и у нас от ее фантазий крыша не съехала. Ну и отвезли ее туда, в Колбино. Она, в общем, и не возражала. Ей какая разница, где телик смотреть и жизни учить... — Допила пиво. Забросила в рот жвачку.

Плюша держала соломинку и задумчиво играла ею с пенкой.

— Думаешь, мне ее самой не жалко? Сколько раз аутотренинг себе устраивала: это мать, ты ей должна, это мать, мать... Мать! Мозгами понимаешь, а посмотришь на нее... Вот твоя — действительно мать, от нее материнством прям за версту разлило...

Ночью после этого Плюша не могла долго уснуть, ворочалась и потела.

Следующий день Плюша прожила в сложных мыслях, на третий купила коробку с бисквитом, надела шляпу и отправилась в Колбино. Тайно от Натали, только выведала у нее, как будто между делом, фамилию и имя.

Пожалела об этом уже по дороге: сэкономила на такси, долго добиралась общественным транспортом. Потом еще раз пожалела у самого дома престарелых. Плюша рисовала его себе мрачным, а он стоял в лесопарке, нарядный, с башенкой.

И вышла не такая уж старая женщина с копной синеватых, хорошо уложенных волос. Плюша назвала себя.

— Помню, — сказала голосом Натали, только суше. — Внизу жили, интеллигенция. Да ты садись... Забыла только, как твою родительницу звали.

Плюша напомнила.

— Точно, — удовлетворенно кивнула. — Как ее здоровье?

Плюша, потупившись, сообщила, что мамуся умерла.

— Пусть лучше следит за здоровьем.

Плохо слышит, решила Плюша.

— А отец жив?

Плюша погромче сказала, что нет.

— Не кричи, слышу. Пусть тоже о здоровье не забывает. Есть хорошая передача, про здоровье. Смотрите? Нет? Бери бумагу, записывай название... Я только на этой передаче и держусь... А ты сама как? Замужем?

Плюша помотала головой.

— А муж кто?.. Ладно, не хочешь говорить, не надо. Пусть тоже эту программу смотрит, там и для мо-

лодых полезное есть, очень хорошо про потенцию рассказывают, доступно. Дети есть?

Плюша громко и с легким раздражением сказала, что есть.

— Это хорошо, что детей нет. Не горюй... — Старуха погладила ее по руке. — Вон, у меня трое их, а результат, видишь? Рожала их, ночей не спала, все ради них терпела. Сколько передач пропустила... А тогда какие передачи были, какие фильмы, не то что сейчас...

Плюша сочувственно кивнула.

— Муж налево ходил, а я молчу, только чтоб отец у них был; годами всю эту музыку его терпела. Могла б их собрать и сказать: дети, у вас отец занимается такими вещами, которые вам даже еще знать рано. Нет, молчала, авторитет его берегла. А он ни одной юбки не пропускал, чтоб на ней не отметиться. Один раз, рассказывали, прям возле дома на поле с одной...

Поймав слово «поле», Плюша прислушалась.

— Трава летом высокая, так они там голые ползали, позор какой! А я это все выноси... А потом придет ко мне, еще с невымытыми руками. А я ему говорю: «Уходи, разносчик инфекций и эпидемий. Иди в траву своими делами заниматься». Зато теперь он у детей сахарный, а меня сюда засунули, в зеркальную эту комнату!

Плюша переспросила, какую зеркальную.

— Шкаф с зеркальными стенками, на стене зеркало, и тут еще одно... Чтобы одиночества не чувствовать, говорят. Чтоб себя и так видеть, и так. А это ужас такой, постоянно на себя как в телевизор смотришь. Да еще задом наперед. У меня, вон, правая рука болит, а в зеркале она левая...



Взяла Плюшу за плечо, наклонила к себе:

— Ничего, я и на это способ нашла, — голос понизила. — Я тоже стала все задом наперед делать. Тапки стала наоборот носить, видишь? Правая на левой ноге, левая... вот...

Приподняла ноги, снова опустила их на пол.

— Часы на левой руке теперь только ношу. И говорить стала так же. Вместо «завтрака» — «ужин». Мне говорят «да», а я понимаю как «нет». Ну и все такое. Очень помогает. Хочу в передачу об этом написать. Поможешь?

Плюша вспомнила про привезенный бисквит.

— Спасибо. — Заглянула в коробку. — Сама пекла?

— Нет, — устало сказала Плюша.

— Молодец! Руки-то хотя бы мыла, когда готовила? Покажи... — взяла Плюшину ладонь. — Какие они у нас мягкие, нежные... Вот только моем мы их редко, да? Надо тщательно мыть. У нас главврач был, немец, правда, но это ничего; так вот он говорил: чистые руки — это всё. Следующий раз я тебя научу, как правильно их мыть, а сейчас мы пойдем телевизор немного посмотрим...

Смотреть телевизор Плюша не осталась. Шла назад быстрым шагом.

Больше туда она не ездила, хотя и пообещала. Вначале дел было много, с музеем и вообще. А потом один вечер Натали как-то пришла пьяная и строгая и стала смотреть в окно. А Плюша села на диван вязать обиженно какую-то мелочушку, шарфик, кажется.

— На поминках была, — сказала в стекло Натали.

Плюша вначале не поняла, но когда Натали произнесла «Колбино», «брат», «сестра», то поняла. Отложила вязанье и легла носом в подушку. Натали глядела в окно и то, как Плюша выражает свое потрясение, не видела.

Вот точно так Плюша лежала за несколько лет до этого. Не час, не два — целый день. Спине становилась холодно, она нащупывала шаль и прикрывала мерзнувшее место.

Она лежала тогда и думала о разных вещах. О мамусе, о поляках, о Евграфе, о Карле Семеновиче и о том, что хорошо бы сварить сосиску. Мысли были равномерно-грустными.

Все началось с той закапанной воском фотографии. Плюша мамусе не поверила, стала наблюдать за ней. Как одевается, как ходит по кухне, какие продукты выкладывает из сумки. В отсутствие мамуси осторожно обыскала ее комнату. Нашла под матрацем смятую в блин мужскую майку, от папусы, наверное, еще. Засунула на место. В выдвижном ящике, где хранились бусы и документы, обнаружила деньги, много. Считать не стала: поглядела и задвинула.

Мамуся, вернувшись с работы, кажется, что-то почувяла: котлеты подгорели. Плюша ночью хотела залезть к ней под одеяло, пореветь и признаться, но, пока раздумывала, заснула.

Утром, походив туда-сюда у телефона, набрала ледяным пальчиком номер мамусиной работы. Чего прежде не делала: мамуся сама с нее звонила. В трубке ответили, что такая-то давно не работает и пусть заберет трудовую книжку.

Вернулась мамуся вечером, в снегу; общались как ни в чем не бывало. Мамуся пахла новыми духами. «А это тебе» — и с таким же запахом ей, из сумочки.

Наконец Плюша решилась. Название этого места она уже знала. Купив газету с рекламой и найдя нужный телефон, позвонила и подделанным голосом договорилась о приеме.

Была оттепель, она добиралась двумя автобусами, не сразу нашла и перенаступала во все лужи вокруг.

В коридоре пахло жжеными индийскими палочками. У нее забрали пальто и сказали, в какой кабинет идти. Плюша тут же, конечно, перепутала и попала в комнату, напоминавшую запахом их музейный кафетерий. В креслах гадали на кофейной гуще. Плюша попятилась и закрыла за собой дверь.

Нашла наконец нужный кабинет. Комната была зашторена, горели свечи, мерцали какие-то стекляшки. На полочке стоял череп. На другой полке Плюша узнала свою салфеточку.

— Заходите, дорогая. — Родной голос звучал по-чужому. — Рассказывайте...

Мамуся в черном парике подняла на нее глаза и запнулась.

Потом выбежала за Плюшей на улицу в своем нелепом наряде... Плюша успела спрятаться за киоск.

— Плюша! Доча!

Плюша стояла, пускала пар и не отзывалась.

В ту ночь Плюша осталась ночевать в музее; договорилась с вахтершей, та одолжила ей одеяло. Плюша соорудила себе лежанку из книг и папок с ксерокопиями польских дел. Телефон на столе плаксиво звонил, Плюша знала, чьи это звонки; поборовшись с собой, вынула

шнур. Рассеянно прошла по залам, перед «Девушкой и Смертью» не останавливалась, даже ускорила шаг.

Легла на книги и укрылась вахтершиным одеялом. Снизу было неудобно, бумаги врезались в бок, сверху холодно. Где-то в полночь захотелось домой.

Плюша осторожно вышла из музея, сделала несколько шагов по снегу и остановилась. Возле музея стояла мамуся и ждала ее; позади мамуси желтело такси.

Следующий день она провела лицом в подушку. Вечером слышала мамусин голос, говоривший кому-то по телефону: «Да, здесь у нас на поле очень сильная энергетика...» Мамуся уже не таила от нее свое колдовство и жарила рыбу.

— Хочешь, я тебе мужа добуду, нормального? — спросила за ужином, к которому Плюша согласилась выйти. — Есть у тебя кто-то на примете?

Плюша вспомнила Евграфа, героя ее бедных фантазий, но не назвала. Да и где он, «граф по имени Евграф»? Нет, ей никто не нужен, никто, она самодостаточная.

И Карла Семеновича к тому времени на ее горизонте тоже уже не было.

После той ночевки на даче Плюша как-то временно перестала о нем думать. Осталась только мысль о зеркальной комнате из ночного рассказа. Эта комната иногда снилась Плюше, жесткая и слепящая.

Вот ее вталкивают, совершенно голой и потной от стыда, и опускается зеркальная стенка. И Плюша стоит, сжавшись, среди этих стеклянных поверхностей. Начинается какой-то сильный фокстрот, через громкоговоритель ее заставляют под него танцевать.

Она переступает с ноги на ногу и шевелит ладонью, но этого им недостаточно. Веселее, кричат ей. Бедрями давай, кричат ей, бедрами. Плюша отрицательно мотает головой, и тут зеркальные стены начинают со скрежетом сдвигаться на нее, комната сужается. Она пытается что-то сделать бедрами, но их это все равно не устраивает, стены сдвигаются еще сильнее, она уже чувствует локтями и коленями прикосновения стекла. И оно все ближе и уже сдавливает ее...

Плюша просматривает ксерокопии, снятые в архиве.

Анкеты арестованных, протоколы допросов. Нет, конечно, в них ни о зеркальной комнате, ни о колодце ничего быть не может. В письмах с просьбой о реабилитации тоже пусто. Боялись упоминать? Или кто в них побывал, не выжил?

Поделилась с Геворкяном.

— Могли просто не помнить. — Геворкян постукивал стопкой ксерокопий по столу. — Человеческая память устроена так, пытается выдать из себя все самое тяжелое...

Перестал постукивать, поглядел на Плюшу.

— Что-то вы, Полина-джан, неважно выглядите. Бледны, как юная луна. Отпуск когда последний раз брали?

Плюша не помнила.

— Вы ж на себе тут все тянете... Хорошо, не отпуск. Не отпуск. Просто слетайте куда-нибудь на семинар. На конференцию. Сменить обстановку. Вам что, сюда приглашения не приходят?

Приглашения приходили. Пару раз ее даже вызывали к директору... Плюша то не успевала сделать па-

спорт, то нужно было выслать тезисы, а она плясала в монитор, печатала и тут же все удаляла. Чтобы ездить, нужен был английский, она взяла в библиотеке учебник, подержала его месяц и сдала обратно. А потом, поездки — это же еще взлеты, посадки...

— А насчет комнаты, — Геворкян поднялся, — вы все-таки посмотрите еще в допросах самих этих следователей.

Плюша кивнула. Да, там могло быть. В начале тридцать девятого, после прихода Берии, стали «чистить» следователей-ежовцев, кто вел «польское дело». Она посмотрит.

— И поглядите у отца Фомы. — Геворкян уже стоял в дверях. — Что-то встречал у него про зеркальную комнату, хотя и не связанное со следствием... Если все это, конечно, не было плодом воображения нашего общего друга.

Плюша снова кивнула и стала покусывать карандаш, дверь закрылась.

**В о п р о с :** Вы арестованы за проведение преступной вредительской работы в органах НКВД. Предлагаем давать показания по существу.

**О т в е т :** Извращение в арестах и следственной работе началось с того, что в августе 1937 года была арестована группа поляков в 35–40 человек. В том числе это были обрусевшие поляки, польские перебежчики, белорусы и евреи.

**В о п р о с :** Дайте развернутое показание о преступной деятельности сотрудников 3-го отделения.

**О т в е т :** Наиболее крупные искусственно созданные контрреволюционные организации по линии 3-го

отделения были: польская шпионско-диверсионная организация «Млода Польшка» и вторая польская шпионско-диверсионная организация ксендза Косовского.

Началом этих извращений было прибытие в Горотдел Шура, сотрудника НКВД по области, который предложил мне и другим работникам составить списки лиц польской национальности и родившихся в Польше. Мы эти списки составили, Шур их взял с собой, а через некоторое время эти списки вернулись к нам с предписанием «арестовать», т.е. арестовать людей польской национальности по спискам в целом, независимо от того, были ли или не были на них компрометирующие данные.

Была дана установка арестованных допрашивать меньше, а написать им протоколы допросов и просто получить их подписи. Арестованные уже выдерживались на конвейере по 4–5 суток.

**В о п р о с :** Дайте показания о проводимой лично вами преступной работе.

**О т в е т :** При ведении следствия я взял тогда себе группу поляков, проходивших по разработке «Польский костел». Из этого агентурного дела было видно, что под руководством ксендза католической церкви много лет существует националистическая группа, которая под флагом костела объединяет польский антисоветский элемент.

В протоколах допроса, составленных мною исходя из материалов агентурного дела, я фиксировал показания арестованных, исходя из собственного усмотрения, игнорируя их действительные показания, и добивался подписи протоколов всяческими путями.

— А какими путями они добивались, естественно, не сообщали.

Этот разговор с Геворкяном происходил уже через неделю.

Геворкян часто бывал в музее. Наверху что-то сдвинулось: пришел новый мэр, заинтересовался польским делом, зашевелился областной Минкульт. Музей репрессий, существовавший на общественных началах, решили поддержать и укрупнить, передав часть фондов из Плюшиного музея, включая архивы...

Геворкян уже не шутил над Плюшиной бледностью, да и сама Плюша выглядела лучше — чувствовала. Приделалась немного на мамусины «колдовские» заработки, губки подрисовала. В жизни у нее за ту неделю наметились некоторые перемены, но о них она пока даже мамусе не говорила.

Она встретила Евграфа.

Он сидел, маленький и пьяный, на лавочке недалеко от их подъезда и курил.

Плюша прошла мимо, вся в своих музейных мыслях.

— Мне нравится, что вы больны не мной, — окликнул ее хрипловатый голос.

Евграф стоял, чуть шатаясь, и улыбался; щетина рыжела на солнце.

Шел он с трудом — Плюша почти тащила его на себе.

— Как медсестра с поля боя, — шутил, медленно произнося слова. Хорошо, что все такой же тоненький, только чуть потертый и несвежий.



— Я тут сталкером, людей на поле вожу...

Плюша с неожиданной для себя решительностью остановила машину, запустила Евграфа назад и сама села туда же. Их ноги прижались, у Плюши пересохло во рту, а мысли заскользили туда-сюда, как снегоочистители по стеклу. Ехать оказалось недалеко, Плюша расплатилась, помогла Евграфу вылезти и подвела к подъезду. Стала глухим, официальным голосом прощаться. Он сжал ей руку повыше локтя: «Не дури, Круковская. Я живу один».

Снова заерзали снегоочистители: бежать, бежать, бежать...

В коридоре с третьей попытки поймал ее губы своими, стало больно и невкусно.

...Потом почти сразу же уснул.

Плюша села, сжала холодные голые ноги и стала разглядывать одеяло, которым они укрывались, старую тахту и саму комнату. Комната была в сталинском доме, с высоким потолком. Плюша брезгливо ступала по холодному полу; упала и покатилась бутылка. Поехала вниз бас-гитара, Плюша успела ее поймать.

Долго ползала в поисках запропастившихся колготок.

В ванной висела газовая колонка, как в прежнем их доме. Зажечь ее Плюша побоялась, пришлось обходиться холодной. Вытерлась каким-то сомнительным полотенцем. А колготки нашлись на зеркале.

Евграф спал. Плюша вышла на кухню, села на табуретку и задумалась.

Желание ее исполнилось, но как-то криво: без неторопливой, красивой увертюры.

Она вдруг увидела себя со стороны: с толстыми, давно не бритыми ногами, в колготках с зацепками, с мокрым, невытертым животом.

Выбежал таракан, пробежав по столу, скрылся за банкой.

Евграф все еще спал, скинув одеяло на пол и согнув ногу, на которой темнел носок. Плюша подняла одеяло, сделала пару условно отряхивающих движений и накрыла им Евграфа. Осторожно, стараясь не вызывать скрежета пружин, легла рядом. Евграф открыл глаза и поглядел на нее напряженным взглядом. Потом, видимо, вспомнил, глаза прикрылись, нос мирно засопел. Плюша еще несколько раз меняла расположение, прижимаясь к Евграфу то одним, то другим бочком, чтобы согреться. Согревшись, заснула и зачмокала губами.

— День добрый, пан Адам!

— День добрый, пани Эва!

— Как протекают труды ваши? Не потребна ли помощь?

— Благодарю вас, добрая пани, с помощью Пана Бога, справляюсь. А как наскучит, прохлаждаюсь вот в этом ручье. Вот уже и виноград собран, даже не придумаю, что с такой прорвой винограда делать. Видно, придется опять излишки скармливать волкам. Хорошо еще, непривередливые, и виноград, и смоквы — всё се-роухие сметают. Но не буду жаловаться, справляюсь своими силами. Да и у вас, видно, своих трудов хватает.

— Труды мне эти в радость: собираю цветы с холмов и кормлю ими своих любимцев. Вот, набрала сегодня утром лилий и угощала ими львов...

— Разве они едят лилии? Я думал, они лакомятся только распустившимися розами...

— Едят и лилии, пресветлый пан. Хотя розы, как я заметила, им больше по вкусу.

— И незатейливые ромашки, милая моя супруга, думаю, они согласились бы отведать из ваших рук... Но скажите, что за неизвестный плод вижу я в них?

— Ах да, пан Адам, я как раз спешила сюда, чтобы показать вам его. Едва вы покинули на заре нашу поляну, где мы с вами всю ночь любовались звездами и пели вместе с хором цикад и кузнечиков, ко мне приблизился змей. Вам эта достойная тварь, разумеется, известна: он часто посещает нас и развлекает, обвиваясь своим гибким телом вокруг наших членов и лаская их своим язычком.

— Да, а иногда он является, держа в устах своих какой-нибудь плод, добытый в отдаленных садах; хотя я и уверял его, что мы можем иметь всякие плоды сами...

— Но все же это очень любезно с его стороны; змей проявляет такую нежную заботу о нас. Вот и этот раз он, по его словам, решил попотчевать нас редким лакомством.

— Что же вы не съели его? Плод так приятен на вид.

— Я... Милый пан, супруг мой, я несколько смутилась. Ибо когда я взяла его в правую руку, мне вдруг явилось некое виденье.

— Виденье? Это забавно.

— Поверьте, было оно, скорее, странным. По виду этот колеблющийся в воздухе образ напоминал обезьяну, но не был так мил и забавен, как она. Шерсть росла

у него лишь на голове и лице и еще немного в других местах, но совсем негустая, и всюду виднелась голая кожа, как у свиньи. У этого существа была пара рук и ног, похожих на обезьяньи, но не такие гибкие; самым же странным был взгляд: глаза его глядели на меня в упор, как никто в нашем саду никогда не глядит...

— Что же вы замолкли, пани Эва? Рассказывайте дальше.

— Я, право, не знаю, как сказать... Существо это чем-то напоминало вас, пан Адам. Нет, у него не было ваших сияющих крыльев, вашей силы и красоты. Но... А потом я вдруг увидела, как это странное существо стало изменяться. Шерсть на голове становилась белой, а затем стала выпадать, кожа желтела и покрывалась морщинами, как кожура вянувшего яблока; спина согнулась, руки стали мелко трястись. Затем со странной тварью произошла еще одна перемена: вдруг упала, словно споткнувшись, и осталась неподвижной. Рот приоткрылся, все члены покрылись пятнами, все телесные покровы стали исчезать, оголяя скрытые под ними серые предметы, вроде голых ветвей дерева...

— Пойдите-ка, пани, дайте мне этот плод, я желаю получше разглядеть его...

На этой тахте Плюша прожила полтора года.

Постепенно научилась зажигать газовую горелку в ванной. Попыталась бороться с тараканами: раскладывала для них шарики из борной кислоты, изготовленные мамусей.

Самой мамусе пришлось через неделю признаться. Восприняла спокойно, но с грустью, погладила ее по ноге. «Кем работает?» Плюша неуверенно отве-

тила, что сталкером, на поле наше водит, еще в какие-то места. И на гитаре играет. «Деньгами буду помогать», — сказала мамуся важное.

Плюша собрала самые насущные вещи и переехала к Евграфу жить.

Евграф был трезв и прибытию Плюши с двумя чемоданами не обрадовался. «Это что такое?» — говорил, глядя, как она их освобождает.

Салфеточки, для красоты...

Евграф хлопнул дверью и ушел.

Плюша, заплаканная, но в целом довольная, закончила раскладку. Искупалась, вытершись привезенным из дома полотенцем, и почувствовала сладкую усталость. Вечером сходила в магазин, долго выбирала продукты. На ужин сварила пельмени по инструкции на пакете и собственноручно открыла банку огурцов.

Евграф вернулся пьяный и голодный. Всосал в себя пельмени, захрустел огурцом. Потянул ее в комнату. То, как украсилась комната благодаря Плюшиным трудам, даже не заметил.

Утром оглядел украшенную Плюшей комнату и уткнулся в подушку. Плюша поцеловала Евграфа в несвежий затылок и уехала на работу. Добираться отсюда до музея было удобнее. Первое время она, вообще, радовалась, строила какие-то замки.

— Дура потому что, — говорила Натали, когда Плюша потом ей рассказывала. — Образованная, интеллигентная дура. Не обижайся, это я тебе от чистой души говорю... Я сама дура, только на другое полушарие.

Плюша не обижалась.

Да, с Евграфом ей женской смекалки где-то не хватало. И до загса у них не дошло, хотя ее поначалу тянуло — ради белого платья и ниточки жемчуга, которую мамуся ей обещала к венцу. В итоге ни загса, ни ниточки...

Она надеялась, что он как-нибудь спросит о ее работе, и она расскажет и о музее, и о своих поляках. Ведь он много раньше читал, полки над тахтой были набиты книгами, стекла с трудом задвигались. У книг, правда, был какой-то кислый, неживой запах, а из эстетики Вагнера, которой Плюша заинтересовалась, выпал засушенный таракан, и Плюша быстро засунула Вагнера обратно.

Разговаривали они мало. Когда Евграф был пьян, он молчал или говорил что-то короткое: «Куда пошла?», «Где хлеб?», «Погладь теперь вот здесь». Когда был трезв, говорил больше, и не всегда приятное. Но трезвым он почти не бывал, и этот факт Плюшу тревожил и заставлял задуматься.

Один раз к Евграфу пришли из его группы, где он был на бас-гитаре, и он запер Плюшу в маленькой комнате, чтобы не мешала. Вначале просто сказал, что к нему придут, и предложил прогуляться по воздуху. Но было уже поздно, шел дождь, и Плюша от прогулки отказалась. Тогда он запер ее в комнатке, которая использовалась как кладовка, с колбасой и нарезкой батона.

Поплакав от обиды, Плюша доела колбасу и стала прислушиваться.

Группа называлась «Иван Навин». Женских голосов слышно не было, хоть это успокаивало: одни хриплые мужские. Гремела гитара. «Иван шел по мелколе-

сю...» Плюша накрылась пыльной подушкой, вспотела и заснула.

Утром долго била в дверь кулаками. Наконец ей открыли: Евграф, сонный, в зеленой майке, глядел на нее. Ей вдруг стало невыносимо жалко его, и она поцеловала его в колючий подбородок.

«12 марта по старому. С утра лил дождь. Память праведного Финееса, внука Ааронова. Раздумывал о нем и о главном его подвиге: убийстве израильтянина и медианитянки, когда они предавались любви.

“И прободе обоих, и человека Израилтянина, и жену сквозе ложесна ея”.

Проткнул их, любившихся, одним ударом копья.

Вот ведь как.

Хорош, конечно, и тот израильтянин! Нашел время для любовных утех, когда Господь поражал сынов Израилевых и весь народ сидел у скинии, плакал и молился. А он на глазах у всех приводит эту девицу и влечет ее к себе в шатер, или что у него там было. А Господь поражал-то израильтян как раз за медианитян, за то, что стали перенимать у них обычаи идолослужения. Поступок легкомысленный, если не сказать кощунственный.

Но в этой истории занимает меня больше не этот несчастный, чье соитие закончилось столь для него печально, а сам праведный Финеес. То, как он постарался, чтобы копьё, пробив тело неосторожного любовника, вошло в самую матку этой медианитянки. Ибо “ложесна” есть матка, *uterus*. “И прободе обоих, и человека Израилтянина, и жену сквозе ложесна ея”.

И вот он прославляем за свою священную ревность, за то, что убийство это сразу прекратило истребление сынов Израилевых. Имя его, а по-еврейски оно звучит как Пинхас, очень у иудеев почитаемо. Я помню у нас в Гродно нескольких Пинхасов, а с одним из них даже учился в гимназии. И следователя моего первого в ЧК, которого я еще и лечил, Петра Марковича Свердлина, тоже звали Пинхас, как он сам мне в доверительной беседе сообщил. Интеллигент был. Пальцы, как у пианиста. Мухи не обидит.

Мог бы я совершить подвиг, подобный тому, что совершил Финеес-Пинхас?

Кстати, о мухах... Помню, летом седьмого развелось у нас тьма их. Летали по комнатам, докучали жужжанием и лезли в лицо. В мои обязанности как самого младшего входило колотить этих гостей хлопущей или попавшимся под руку "Утром России". И вот как-то я приметил двух мух, одна на другой. Или, правильнее бы сказать, один на другой. Что же? Я и их уколошил. Однако потом — а я уже был просвещен касательно того, что это значило, — испытывал по поводу содеянного некоторые угрызения совести. Точно совершил маленькое святотатство, надругавшись над таинственной силой Любви, разлитой в Природе.

У какого-то философа, забыл имя, читал еще в Москве, студентом, был целый патетический трактат о том, как невозможно нам представить то, что испытывал Авраам, собираясь принести в жертву сына своего Исаака.

А мне вот гораздо труднее влезть в шкуру этого Финееса. Нарочно ли он таким макарон вонзил копые



или так вышло? Или просто спешил, ведь любовники могли его заметить... Или целился?

Конечно, можно сказать, то было время Закона, "кровь за кровь", а не Благодати. И что после Христа подобные подвиги от нас уже не требуются. Но...

В медицину я пошел сознательно, чтобы служить людям. И специальность, венерические заболевания, тоже избрал сознательно. Ибо от несчастных, пораженных ими, отворачиваются все: и родичи, и друзья, и общество. Мораль осуждает их; язвы их не вызывают сочувствия, разве что брезгливое любопытство. И вот этим-то *misérables'* я и решил служить. И служил, покуда не почувствовал в себе более высокого и важного призвания: врачевать язвы невидимые и телом неощутимые, но от того не менее страшные.

А на что только мне за мою десятилетнюю практику не пришлось наглядеться... Наиболее страшными были даже не сами эти "красоты", к виду которых, кстати сказать, я быстро привык, а лица моих пациентов, когда я просил показать мне то, что их беспокоит. Особенно мучительное выражение было на какое-то мгновение на лицах женщин; мужчины, те чаще всего послушно уходили за ширму возиться с ремнем, брюками или кальсонами, если было холодное время года... Впрочем, и тут бывали исключения. Помню одну даму из блоковских "Катек", невытую и притом надушенную; предъявила свои гнилые «сокровища» спокойно и деловито, точно засбоившие часики, принесенные в починку. И противоположный пример: ангелической внешности молодой человек, еще гимназист, шумно разрыдавшийся в ответ на мое пригла-

шение “спустить штаны”. Было это в первые годы моей практики, и я, признаться, сам был смущен видом плачущего передо мною ангела. Пришлось напоить водой и сказать несколько строгих мужских слов; подействовало.

Даже налюбовавшись на эти гнойные плоды соитий, исполнившись столь частого у нашего брата врача скепсиса к полу и его инстинктам, я, однако, продолжаю испытывать род какого-то священного, немедицинского уважения к самому соитию. Не желая его для себя, нет... И не лакируя его эстетически, как предприимчивые порнографы всех времен. Но проникаясь какой-то жалостью к этим голым и беззащитным людям, особенно если соитие было блудным. Ибо нет греха, в котором грешащий был бы так же беззащитен, так же уязвим. Финеес — это, говоря другими словами, олицетворение того наказания, того ада, который ожидает этих “голых” уже при жизни, не говоря о том, что будет после, где червь не угасает.

Но мог бы я, я сам, ударить их копьём, услышать короткий и страшный вопль, увидеть, как ложе быстро темнеет от крови? Готов бы я был сделать себя орудием не только милости Божией, но и Его гнева? Не знаю...

А по городу между тем ползут мрачные слухи. Будто собирают сведения обо всех поляках и собираются их куда-то высылать. И произносится это с чувством тупой, свинцовой покорности: люди уже привыкли. Вот и я сложил на всякий случай самое важное: служебник, антиминос, пару иконок, эти записи, сапоги, расческу, зуб. порошок. А дождь снова льет, и в лужах пузыри — значит, кончится не скоро».

Через год с начала Плюшиного проживания у Евграфа произошло ее первое близкое знакомство с Натали.

Нет, виделись и раньше. Их как-то Геворкян у себя в Музее репрессий познакомил; Натали туда попала через «Речку», «Речь Посполитую», помогала там руками по хозяйству. Она ж и электрик, и подкрасить, и прибить — все умела. Геворкян, кстати, потом спрашивал Натали, общаются ли, соседки ведь. «Эта, что ль?.. Морская свинка в обмороке?» — кривилась Натали. Дело было еще до Плюшиного переезда к Евграфу.

А тут у Натали снова дела вкось пошли. Укатил в свою Польшу Фадюша, стало пусто: ни макаронами накормить, ни мозги вправить. Тут еще две ее старые подружницы дернули в Москву разгонять тоску, там и залипли. Под конец Натали тюкнула в гололед новенькую свою бээмвэшечку, красавицу; сама даже синяк не поимела: ремень спас, а машинке пришлось «даси-даси».

Стало Натали под вечер делаться не по себе. Намоеет полы, начистит ванну и сидит думает. Или лежит с пивом, смотрит порнушку, но ее ж долго не помотришь: одно и то же. Книжки умные, которые раньше читала, теперь читать не тянуло: повертит в руках и на место положит.

Выйдет погуляет по району, в окна поглядит. Даже собаку запланировала уже, только не могла придумать, какой породы. Или мужичка приглядеть, чтоб не инвалид и не требовал повышенного интимного внимания. Только ничего подходящего в близлежащем радиусе не имелось, а что имелось, то на Натали само не гля-

дело. На нее-то и молодую очередь не выстраивалась, а теперь... «Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано». Вот именно, камрады.

Делала Натали несколько невеселых кругов, подмерзала и топала обратно в чистую свою и постылую квартиру. Иногда пивка в ларьке прихватывала и вонючих каракатиц, завершить вечернюю программу.

В один из таких вечеров, возвращаясь с очередной прогулки, заметила женскую фигуру у подъезда. Фигура специфически покачивалась. «Алкашня», — устало подумала Натали и собралась заходить в подъезд.

Свет из двери упал на пьяную. Натали остановилась: узнала. Свинка морская, здравствуйте вам.

Плюша ежилась, разглаживала на себе пальто, что-то тихо и нервно говорила. Что пришла к матери, а дверь закрыта, и теперь вот...

Натали схватила ее за руку и потащила к себе.

Та даже до «белого друга» не успела добежать: продрало. Натали втокнула ее в ванную, сама пошла на кухню, пошукать в аптечке.

Плюша ныла в ванной, булькала водой и мамашку свою звала.

«Интеллигенция...» — кривила губы Натали, копясь в таблетках.

Нашла нужное, пошла в ванную:

— Оставь, сама подотру... В ванну лезь!

Плюша еще всхлипывала и оглядывала кафель. Оценила, похвалила, сквозь сопля свои.

— Ремонт недавно делала. На вот еще и это... Запей.

Плюша шумно запивала из Фадюшиной чашки. Закашлялась. Натали постучала ей по спине и пустила воду в ванну. Вышла, посидела на диване.

Плюша долго не подавала признаков жизни, Натали постучала. Внутри барабанила вода, отклика не было.

Натали заглянула.

Плюша сидела в ванне и глядела на нее коровьими своими серыми глазами.

— Жива, что ли? — Натали оперлась о косяк.

Плюша кивнула.

Оставила ночевать ее у себя. Постелила ей в зале, сама устроилась в Фадюшиной бывшей. «Вот, — думала, засыпая, — свалилась на мою голову...» И улыбалась зачем-то.

Утром болтали на кухне. Болтала, в основном, Натали, соскучившись по живому разговору. Она пекла оладьи и курила; открыла вишню из старых запасов.

Наизвинявшись, Плюша начала уходить. Потопталась на кухне, потопталась в коридоре. Хотя приезжала к матери, заходить к ней не стала. «Позвони в дверь, — говорила в подъезд Натали, — может, уже дома».

Плюша бормотала разные благодарности и спускалась задом вниз.

«Странная», — думала Натали. И снова улыбалась и посмеивалась: смешинка, что ли, в рот попала...

А с Плюшей тогда случилась вот что: жизнь ее с Евграфом хрустнула, дала трещину и зашла в тупик. И выползать обратно из тупика не хотела.

У Евграфа случился запой: лежал как труп на тахте, Плюша сидела на кухне. Выбирался из запоя тя-

жело, на какое-то время стал добрым, сажал Плюшу рядом и водил по ее лицу пальцами, тепло и щекотно.

Через пару дней все стало по-старому, даже хуже.

Один раз ударил ее, Плюша упала и раскровила губу. Потом просил прощения. Простила... Назвал дурой.

Плюша ездила к мамусе с разбитой губой, чтобы та что-то сделала по своей линии. Мамуся утешала ее, кормила курицей, но колдовать отказывалась: заговоры оказались не ее профилем. Лучше пусть он перестанет на поле ходить и людей туда водить. И зашьется.

Евграф зашился.

Начал принимать душ по утрам, покупать кефир и пить его.

Стало еще хуже.

Начал странно, с ледяной усмешкой глядеть на Плюшу. И руки у нее, оказывается, не те, и ноги не такие. «Ты какая-то... неактивная», — делал ей выговор в постели. Плюша вздыхала и пыталась быть активной. И на поцелуях не экономила, старалась, в общем.

Он стал принуждать ее к стирке и другим домашним делам. Не выдержав, Плюша вызвала специальную женщину, чтоб убралась; Евграф застал женщину и выгнал. Требовал, чтобы Плюша сама, сама, с мокрой тряпкой... Ужас. Плюша в ответ стала засиживаться в музее и возвращаться, когда он уже спал, накрывшись с головой.

— Забеременей, — учила ее мамуся. — Может, тогда образуется.

А если не образуется?

— Тебе уже четвертый десяток, потом поздно будет, — напоминала мамуся, накладывая ей с собой фаршированные перцы.

Перцы были вкусными. Плюша думала. Забеременеть не получалось. Гинекологов, как и зубных врачей, Плюша избегала.

— Ну как? — интересовалась мамуся.

Плюша аккуратно уходила от разговора. Рассказывала ей о выставке, посвященной отцу Фоме; выставку устраивали вместе с местной епархией, подняли редкие документы... Мамуся вздыхала.

Сама повезла ее на обследование. Ехали молча, Плюша тряслась на заднем.

В тот самый день, который закончился для Плюши постыдным отмоканием в Наталийкиной ванне, пришли результаты обследования.

У нее оказались недоразвитые органы: как у девочки.

Так что, нет надежды на детей?

Гинекологиня с короткими пепельными волосами кивнула и попыталась сделать сочувственное лицо.

Как у девочки... Как у девочки... Вертелось в голове.

Плюша поехала к Евграфу: тыкалась носом в его свитер, шею, джинсы. Ничего ему не стала рассказывать, ничего, только сопела и тыкалась.

А Евграф был на нежности в тот день не отзывчив. Резко поднялся: нужно было снова вести куда-то группу. Плюша слышала треск застегиваемой молнии, злые шаги на кухню. Ушел, пнув напоследок ведро; Плюша собиралась накануне полы помыть, тряпочку замочила...

Плюша вышла на кухню, поглядела на опрокинутое ведро. Опустилась на колени и стала собирать воду. Помыла, утирая слезы, всю посуду.

Отыскала запрятанные от Евграфа бутылки. Повертела в руках, раздумывая и готовясь.

Добросовестно выпила, отерла горькие губы, оделась и поехала к мамусе. Хмель нагнал ее по дороге, стало жарко, муторно и страшно, все поплыло: ночь, улица, фонарь, автобус. Чуть не выпала из автобуса на своей остановке.

Мамуси не оказалась, дверь молчала, а свои ключики Плюша забыла. Вышла во двор и села на снег, покрывавший скамейку. Отщипнула его, пожевала и подавилась ледяной слюной.

Накашлявшись, поглядела на поле и увидела, как по нему ходят.

Вначале подумала, что это Евграф со своей группой. Нет, сегодня он повел их смотреть другую аномалию. Люди ходили по полю, собирались кучками и общались.

Плюша заметила, что это дети.

Как же так, их же взрослыми убили? Всех взрослыми. А тут...

— Это неважно, — говорили голоса с поля, — во сколько лет нас убили. Мертвый, он всегда ребенок. И взрослости никакой нет, и старости, одна иллюзия, Плюшенька. Помнишь, что отец Фома писал, ты на днях читала? Вот и мы все тут дети.

Плюша кивала, мычала, вставала и снова садилась.

В таком состоянии ее и нашла Натали. Что такое алкогольное отравление, Натали понимала и всегда имела в аптечке нужное.

Видение свое Плюша на какое-то время забыла.



Из предисловия к публикации «Евангелия детства» отца Фомы (Голембовского).

«Евангелие детства» — небольшая книжка, написанная иеромонахом Фомой для своих племянников, Юрия и Андрея (Анджея) в начале 1930-х годов, содержащая краткий пересказ евангельских событий. Для облегчения детского восприятия о. Фома описал все события так, как если бы они происходили не со взрослыми людьми, а с детьми. Взрослыми изображены только Дева Мария, Иосиф Обручник и первосвященники; остальные же, включая даже Пилата и Иуду, показаны детьми 9–12 лет.

Первая публикация отрывков «Евангелия детства» на сайте Музея репрессий (сноска) вызвала споры. Критики этого сочинения, среди которых немало и служителей Церкви, указывали на неканоничность такого пересказа и на возникающие при этом искажения. «В Евангелии, — суммировал основные претензии прот. Сергей Голубцов (сноска), — ясно сказано, что Иисус «был лет тридцати» (сноска) и что Понтий Пилат был прокуратором Иудеи, а не «королевичем», как у о. Фомы. Слишком много места уделено Иуде. И многое другое. Мы чтим подвиг о. иеромонаха, но от дальнейшей публикации и тем более распространения этого его сочинения советовали бы воздержаться. Нельзя, даже с благой целью популяризации, вводить детей в заблуждение. Да и оттого что все действующие лица Евангелия изображены детьми, оно не становится для детей доходчивее: например, в сказках действуют взрослые герои, а не дети, однако дети все в них понимают» (сноска).

“Никакой опасности “Евангелие детства” иеромонаха Фомы не представляет, — возражает прот. Сергий автор, скрывшийся за псевдонимом Калик Перехожий. — В предуведомлении, которым он снабдил свою замечательную книгу, он сам объясняет, что это не пересказ Священного Писания. Это самостоятельное произведение. Я читал эти отрывки детям, и дети это прекрасно поняли; может, только кроме некоторых устаревших слов. А что могут предложить взамен те, кто “не советует” читать книгу отца Фомы? Очередные сусальные пересказы Евангелия “для маленьких православных” с приторными иллюстрациями?» (сноска).

...Плюша старательно редактировала и проставляла сноски.

Публикацию готовили к выставке, посвященной 125-летию со дня рождения иеромонаха Фомы. Хотели устраивать в Музее репрессий, потом в здании епархиального управления; остановились на городском музее. В музее стали появляться немногословные мужчины в рясах. Плюша обходила их стороной и на всякий случай улыбалась.

Свою выставку готовила «Речь Посполитая»: отец Фома был поляком, в детстве звался Томаш, и там тоже считали его своим. Плюша помогала и с этой выставкой.

«Иван Навин», песня.

Группа «Иван Навин»

Иван шел по мелколесью;

Навин шел по мелкобесью.

Мелких бесов рвал с огня, словно грибы с пня.

Проигрыш на гитаре.

Иван шел, дудел в дуделку;  
Навин шел, сопел в сопелку.  
В черной флейте нес огонь; девочка, не тронь.  
Он как дерево мировое прорастает над тобою.  
Греет руки, где живот: этим и живет...

Плюша сошла с автобуса, вытащила из ушей наушники и подошла к дому с кариатидами.

На первом этаже открылся ресторан кавказской кухни, дерево было обмотано лампочками, они мигали, хотя было еще светло. Плюша привычно посмотрела в лица кариатид, но кариатиды глядели куда-то в себя и на контакт не шли.

Плюша несколько раз до этого звонила Карлу Семеновичу, трубку не брали. Общих знакомых, у кого спросить, не было: Плюша не умела поддерживать общение и сохранять связи. Набравшись смелости, позвонила в институт, чтобы услышать и так известное. Вышел на пенсию. Где? Что? Никто не знал. На пенсию, вам говорят, девушка.

Плюша обошла дом с бутылками в ресторанных окнах и долго объяснялась с домофоном. Наконец ее пустили. Стены были недавно покрыты пластиком, и горел слишком яркий для подъезда свет.

Плюше открыла молодая женщина в больших тапочках-собачках: «Мы здесь снимаем квартиру. Нет, не знаем». Удалось выпросить телефон Катажины — «хозяйки».

Два дня Плюша собиралась с мыслями, чтобы позвонить ей.

«Ой, как хорошо, что вы объявились, — звенел в трубке голос Катажины. — Карл Семенович как раз хотел, чтобы вы выбрали для себя книги. Он сейчас извлекается от книг...»

На следующий день Катажина заехала за ней в музей на серебристой машине. Катажина неторопливо вела; Плюша сидела на заднем и прижимала к груди пустую кожаную сумку.

— Вначале все предложили в институт, они отказались, — говорила Катажина. — Не знаем, говорят, что со своей библиотекой делать: то затопляют, то... Не дует, закрыть?

Окно с шелестом закрылось. Плюша вздохнула и поправила волосы.

— Стали по букинистическим. А они берут за копейки, на бензин больше трачу... Приехали.

Они вошли в пустынный двор с большой зеленоватой лужей. Плюша даже зачем-то заглянула в нее, но ничего, кроме пушистой тины, не увидела. Катажина гремела ключами у гаража.

— Помоги...

Вдвоем открыли тяжелую дверь, в ноги упало несколько книг. Плюша присела и стала разглядывать.

— Да вы подождите, вон еще сколько...

Гараж был забит книгами.

— Я тут в одно место съезжу, а ты пока посмотри... Да, конечно, можно: берите все, что душечке угодно... Вот, фонарик возьми... возьмите.

Плюша зажгла фонарик и полезла в книги. Они пахли тяжелым, мертвым запахом, как на полках у Евграфа, только еще сильнее. У Евграфа они еще пахли индийскими палочками, которые он жег, когда увлекал-

ся восточной философией. А здесь книги пахли только собственной ненужностью и смертью. Плюша машинально поглаживала шершавые, пыльные переплеты.

Катажина вернулась через два часа.

Плюша ждала ее, сидя на набитой книгами сумке и мерзла. Еще несколько невлезших туда книг прижимала к куртке. От ветра по луже пробегала рябь.

— Надо было на колесиках взять...

Они вместе тащили сумку к машине.

Плюша взмокла.

— Нет-нет, это в багажник... Только чехлы поменять.

На крыше машины было привязано что-то большое и предолговатое, завернутое в серебристую ткань. За этим Катажина, видно, и ездила.

Плюша отряхнула юбку и осторожно села. Чихнула: успела наглотаться пыли, поползла слеза, Плюша поискала платок.

— Приходится сдавать. Книги, говорю, приходится сдавать.

Плюша кивает и снова чихает.

— На одну пенсию как прожить? Одно слово: «профессорская»!

Плюша спрашивает, можно ли еще приехать за книжками.

— Конечно, — отвечает Катажина так, что Плюша понимает: нельзя.

Ей хочется увидеть Карла Семеновича: очень давно с ним не видалась и не общалась. Катажина молчит. Они уже приехали.

— Я должна у него спросить. Ну, понимаете.

Плюша понимает, кивает головой и прощается.

Натали резко садится на кровати, так что груди тяжело вздрагивают.

Пошумев душем и помычав в ванной, возвращается. Трогает волосы, кожу, сжимает-разжимает губы. Натягивает холодную рубашку.

Два шипящих яйца расплзаются в сковородке.

Хлеб, масло, сахар; телевизор из комнаты. Тело согревается: радуется себе, радуется шершавой яичнице во рту, сигаретному дымку.

Гулко протопав «говнодавками», выходит во двор.

Лужи обметало стеклом, Натали крошит его подошвами. Возле забора никого еще нет, она, как всегда, первая. Еще двумя лужицами похрустела.

Забор на этот раз соорудили из бетонных блоков. Прежние были из профлиста: пёрни — сдует. А этот — моща: не жалеют, гады, материала.

Народ кое-какой начинает собираться.

Натали здоровается и курит, щурится от солнца, которое лезет в лицо.

«Здравствуйте...» — «Какие люди без охраны!» — «Ах, рано встает охрана... Вы какими ветрами?» — «Утро доброе» — «Чешчь... Як ще машч?» — «Чешчь... Дженкуе, добже...»<sup>1</sup>

Из «Речки» активисты, польский меж собой практикуют. Натали поглядывает на подъехавшие машины: бамперы, покрышки, шины. Журналистов пока нет.

Раскатываются ватманы. «Не трогайте мертвых!» — краем глаза читает Натали.

<sup>1</sup> «Здравствуйте... Как ваши дела?» — «Здравствуйте. Спасибо, хорошо».

Из пикетных в основном женщины. Мужики небольшой кучкой курят сбоку, обсуждают вчерашний чемпионат.

Чуть подальше образуется еще одна группа, из новой церкви на Строителях. В группке суетится небольшой дедок в очках и этой, как ее, церковной шапочке. Женщины стоят в платочках и с соответствующими лицами. Достают фотографию. Натали в курсе, кто это: недавно Геворкян по телебаченью вещал. Фома, фамилию забыла. Геворкян, кстати, телевизионщик обещал сблатовать, и где?

Заскучав, Натали подрулила к мужикам, спросила огонька, стрелка одного сигареткой снабдила. Мужики продолжали обмен впечатлениями, она тоже пару мыслей вставила, и стоять как-то теплее стало. А церковные уже икону достали.

Журналистов, однако, все нет.

Кто-то с Натали сзади здоровается: здрасьте...

Натали недовольно оборачивается на шарик в дутой куртке. Конечно, узнала: как ее, Плюша. Что теперь, обниматься с ней? Но губы у Натали почему-то сами собой улыбаются.

— Чего тебя не видеть? — спрашивает Натали.

Шарик мерзнет, нижняя губа подрагивает, и глаза мелко моргают. Бе-ме... Выставку готовим... Я сейчас вас познакомлю... Отходит, возвращается с каким-то серым мужиком.

Есть такие мужики, от них как будто тухлой рыбой несет. Евграф... Ладненько, познакомились.

Во внутреннем кармане Натали нежно булькает фляжка, но еще рано. Мужики за спиной закончили с футболом, перешли на рыбалку. Лужи подтаяли.

«Платочки» тянут что-то свое и поднимают портрет повыше.

В ответ люди из «Речки» тоже поднимают портрет и поют по-польски.

По подтаявшей грязи прогуливаются отец Гржегор и церковный дедок.

— Он был православный священник — раз. — Дедок погибает короткие пальцы. — Православный мученик — два... А кто он был по нации, это дело двадцатое...

— Нет, не двадцатое, — мотает головою ксендз. — Он уродился от польского отца и польской матери. Он любил польскую культуру. И до конца жизни не забывал свой язык. И был расстрелян вместе с другими как поляк.

И дальше прогуливаются, щурясь от солнца.

Причапали, наконец, с телевидения... Даже церковные стали поправлять платочки и беретки.

— Сколько тебе повторять... — режет своим шепотом где-то рядом Евграф.

Плюша втягивает голову в куртку — как черепашка. И отползает в сторонку.

— Тут православная земля, — снова возникает рядом голос дедка, — а вы открываете здесь свои эти представительства, начинаете миссионерство, как будто мы языческая страна... Мы же в вашу Италию не лезем! Или Польшу...

— Пожалуйста, лезьте. — Ксендз приглаживает седоватый ежик. — Пожалуйста, отец Григорий. У нас свободная страна, можете открывать у нас любую миссию. Люди сами решат, в какую церковь им ходить. И здесь люди сами тоже решат. Потому что



у человека есть такая маленькая штучка — свобода воли.

— Свобода воли? — хмуро переспрашивает дьякон.

— Да.

Вздохнув, отец Григорий отходит к своей поющей группке. Останавливается:

— У Адама тоже была свободная воля!.. А змей — что? Приполз и искусил!

Подъезжают еще люди — в основном с церкви. Молодежь. И ребята из «Речки», из театральной студии, куда Фаддей ходил. Обе группы стоят друг против друга мирно, но с напряжением.

— ...Они собрались, — начинает телевизионщица, — чтоб выразить протест против решения городских властей построить здесь Инновационный центр...

— Мы не против строительства центра и высоких технологий, — появляется приехавший с телевизионщиками Геворкян. — Но строительству, понимаете, должны предшествовать раскопки...

— А что говорят в мэрии?

— Что место не входит в число исторических... Абсурд!

Хочет сказать еще что-то, но камера уже уходит, и он идет здороваться и жать руки. Подходит к Натали, спрашивает о Фадюше. «Учится», — отвечает Натали. За спиной Геворкяна хлопает своими глазищами Плюша.

Геворкян поглядывает на церковных и на своих, из «Речи Посполитой».

— Раскол, — оборачивается к Плюше. — То, чего и боялся. Пойду поговорю с дьяконом. Отец Григорий!

— Больше всего, — работает сбоку телевизионщица, — решением возмущены верующие. Здесь, на этом поле, как они считают, был расстрелян почитаемый священник, иеромонах Фома...

— Он был поляком, — подают голос из «Речки» и вертят портретом. — Активистом польского землячества...

— Руки прочь от мертвых! Руки прочь от мертвых! — скандирует кто-то.

Натали щурится на вертолет над полем. Красиво, собака, летит. «Ка-26», винты противоположного вращения. Нравятся Натали вертолеты.

Прострекотал и улетел.

— Мы надеемся, — дьякон глядит, моргая, в камеру, — что с помощью властей и их понимания сможем обрести здесь эти мощи... А то, что некоторые говорят, что пострадал тут как поляк, это нельзя принять. Если мы начнем своих святых по национальному признаку делить, это такое начнется... Есть только две национальности: верующий и безбожник!

— Это вырежут, — хмыкает рядом Геворкян. — Насчет властей, может, оставят.

Говорит тихо, как знающий.

— Но ведь иеромонах Фома еще не признан святым? — продолжает телевизионщица.

— Над этим сейчас работаем, собираем материалы... Вот только разрешение на раскопки нам дайте, а то тут уже черные археологи повадились копать, скоро уже не найдешь ничего...

— Это, может, не вырежут, — задумчиво говорит Геворкян и глядит вверх.

Снова пролетает вертолет над полюшком-полем.

— То-маш! То-маш! — орет молодежь из «Речки».

— Фо-ма! Фо-ма! — откликаются из группы напротив. Группа эта как-то расширилась, видно, подъехали с других приходов.

Побуксовав в грязи, телевидение уезжает.

Часть пикетных уходит: погреться дома, потупить в телевизор. Натали быстро отпивает из фляжки. Протягивает Геворкяну. «При исполнении», — шутит Геворкян. И Плюша эта тоже носом мотаает. А где ее сталкер? Слинял ее сталкер.

Ой, ну как хотите, хоспода товарищчи... «Видит бог, не пьем, а лечимся!» Ух! Хорошо, паны-коханы!

Подходит отец Гржегор, прощается с Геворкяном.

— Я им сказал, чтобы все было тихо и легально, — поглядывает на «Речку».

— Не волнуйтесь, — неуверенно говорит Геворкян.

— Столько кругом ненависти...

— Это не ненависть, — вставляет захмелевшая Натали, — это мы так живем!

Ей хочется обнять ксендза, но вовремя загорается лампочка, что монах. Поэтому в объятия к Натали попадает Геворкян.

— Ну зачем... — сопит Геворкян, пока она его жиры мнет.

— В благодарность... за Фадюшу. — Натали выпускает Геворкяна и обнимает следующую на очереди Плюшу. Вот уж кого приятно: будто булочку обнимаешь. И носик у нее милый такой, дай еще обниму.

— Приходи ко мне еще в гости, — обдает Натали ее своим шепотом. — Киношку посмотрим, про высокое... Только этого своего не бери: от него рыбой несет.

Плюша хочет что-то сказать, но ничего не говорит.

И не надо, кыса моя, и не говори. И так все с ними, мужиканами, понятно.

Остаются две группы: из «Речки» и церковники. Стоят, перебрасываются репликами — молодежь в основном.

— Мы сюда не ссориться пришли, — умиряет своих отец Григорий и протирает очки.

Остальные, из тех, кто посередке, к одной группе приобщатся или к другой. И там, и там — портреты иеромонаха Фомы.

— Фо-ма! Фо-ма!

— То-маш! То-маш!

Солнце лезет за тучу, гаснут лужи, окна и толстые линзы очков дьяконских.

Не осталось почти никого посередке.

Плюша топчется, не знает, к кому присоединиться.

— Уводите своих, — хрипло просит Геворкян дьякона.

— А вы что своих не уводите?

— Да тут из Речи уже и не осталось, какие-то типы посторонние...

— У нас тоже половина непонятно кто. Спрашиваю: вы кто? Молчат. Или говорят: патриоты...

— Вот только патриотов нам тут и не хватало, — Геворкян закашливается. Оборачивается к Плюше. — А вы что тут? Идите домой, говорю!

Плюша стоит и дышит в заиндеветшие ладони.  
Оцепенение какое-то нашло на нее, и воздух темнеет.

Уже не кричат.

Две толпы молча смотрят друг на друга. Лицо Геворкяна становится серым, уставшим.

И вдруг... Все задирают головы.

— Полюшко-поле!.. — орет кто-то сверху.

По узкому забору шагает Натали.

«Полюшко, широко поле! Едут по полюшку геро-о-ои...»

С одной стороны под ней толпа, с другой — поле пустое. Остановится Натали, махнет из фляжки, дальше идет: «Девушки плачут! Девушкам сегодня грустно!...»

— Милый надолго уе-е-ехал, — подхватывает кто-то снизу, — эх да милый в армию уе-е-ехал...

И давай Натали фоткать. «Сковырнется сейчас», — волнуются. И подпевают, со словами и просто мыча.

— Девушки, гляньте! — дирижирует сверху Натали. — Гляньте на дорогу нашу... Ну, блин, веселее, все вместе! И-и-и...

— ...Вьется дальняя доро-о-ога, — несется в похолодевшем воздухе. — Эх, да развеселая доро-о-о...

Взлетают с поля птицы.

Взмахнув руками, Натали валится за забор:

— Ё!

Народ облепляет забор, подсобляя друг другу: плечи подставляют, за ноги лазунов придерживают.

И видят те, кто первыми забрались, широкое поле. А под забором кучу песка. И Натали, из этой кучи на четвереньках выползающую.

— Танцуем, — говорит, от песка отплевываясь.

Тут снег начинает сыпать, народ, навеселившись, расходится.

А Натали пришлось нарядить в гипс: руку повредила. Плюша к ней приезжала: навещала, чай с брусникой пила. Ягода язык мягко щекотала.

— Наступила темнота, не ходи за ворота, — гудит над полем ветер.

«Жили-были два мальчика. Один был из богатой семьи, умытый, причесанный, жил в высоком каменном доме; при мальчике имелась няня, баловавшая его и водившая на прогулки в сад. К удовольствию богатого мальчика всегда имелись разнообразные игрушки, орешки из марципана, монпансье и шоколадные бомбы. Вдобавок мальчику выдавались карманные деньги, которые он тратил на разные фантазии, а иногда просто кидал в реку, вместо камушков. И радовался тому, как они звонко плюхаются.

А второй мальчик был из семьи, обитавшей в подвале и питавшейся одним хлебом и червивым картофелем. Рос мальчик чахлым, сильно и тяжело кашлял, но денег на лечение не было, и его сажали просить милостыню. И часто мимо него, задрав конопатый нос, проходил тот самый богатый мальчик, но не давал бедняге и копеечки, а смеялся над ним и дразнил обманщиком. Богатый мальчик где-то слышал, что все нищие — притворщики и лгуны, и эта мысль ему очень нравилась.

Тем временем к городу, где они оба жили, подкралась какая-то эпидемия; стали люди умирать, и их стали хоронить, больших и маленьких, бедных

и богатых, кудрявых и совершенно лысых, в общем, всех.

Заболел богатый мальчик, похудел, пожелтел и умер. Устроили ему похороны по первому разряду, с лаковым катафалком и лошадами с черными шорами на глазах. Но богатому мальчику было это уже все равно; он лежал, как оловянный солдатик, ничего не видел и не ощущал. И богатство, венки и лошади были ему уже не нужны, да и вообще непонятно, кому все это было нужно.

Умер и бедный мальчик, быстро и незаметно. Особых хлопот его маленькая смерть никому не доставила: привязали тельце его к саночкам, докатили до ближайшего кладбища и оставили там в общей могиле. И бедный мальчик на это тоже не возражал, вел себя, как принято у мертвых, тихо и бесчувственно: не плакал, не топал ножкой и не просился домой.

А дальше случилось вот что.

Попал богатый мальчик в ад. И не в нарисованный, как в их церкви, а в самый разнастоящий. Место это и для взрослых не слишком приятно, что уж о детях говорить... Ни игрушек, ни няни, ни денег на карманные расходы; дым, грохот, пламя, крики!

Набросились на богатого мальчика какие-то черные существа. "А-а-а!.. — кричит богатый мальчик. — Больно! Вы что, я ж маленький, меня нельзя так!.." А существа этого не понимают, еще и больше стараются. Потому что в аду никто никого не понимает, такое уж место.

Прошла вечность.

Тяжело и больно жить в аду. А самое тяжелое, когда огонь стихает и становится видно далеко-далеко, до самых райских лугов. И видит как-то бывший богатый

мальчик, как по лугам этим гуляет нищий мальчик, который копеечку у него просил. И надет на этого бывшего бедного мальчика сияющий матросский костюмчик, какой прежде богатый мальчик нашивал, и играет он с игрушками, с какими богатый мальчик играл, и даже лучше.

И от этого зрелища начинал богатый мальчик страшно кричать, плакать и возмущаться: “Как же так? Я сижу вот тут и терплю такие страшные неудобства, такие несчастья, а он там гуляет... и за что? Какие он геройские подвиги совершил? Какие необыкновенные добрые дела? Хотелось бы услышать каких-то объяснений”.

И вот, когда богатый мальчик, увидев райские поля, снова стал жаловаться и требовать объяснений, раздался некий голос. “Что ты возмущаешься? — строго спросил его голос. — Ты уже получил то, что тебе полагалось хорошего, при жизни. И не сумел этим воспользоваться...” — “Но ведь я жил так мало! — перебил мальчик. — Если бы я пожил еще, я бы, может быть, исправился. Раскаялся, стал бы совершать хорошие дела... Мне просто возможности не дали! Просто не дали мне возможности!” — и залился слезами.

Возникла тишина. И длилась она, как казалось богатому мальчику, целую вечность, и еще одну. А наверху как ни в чем не бывало разгуливал бедный мальчик и другие дети, светлые и довольные. И от этого света всем, кто сидел внизу, в темноте, делалось так больно, как не бывало даже от огня и смолы.

“Нет, — вздохнул наконец голос, — в детстве уже проявляется все то, что с человеком становится потом. Ты бы не исправился, наоборот, сделался бы великим



злодеем. Чтобы предварить это, чтобы сохранить мир от того зла, который ты должен был в него внести, а тебя от еще более страшной участи, ты и был взят еще нераскрытым бутонем зла в раннем отрочестве. И покуда в тебе будет бушевать дух возмущения, ты пребудешь здесь»».

Плюша пересела на тахту, где лежал Евграф.

Как думаешь... Что дальше будет с этим мальчиком?

Он иногда разрешал ей, когда бывало настроение, почитать что-то вслух. Сам он лежал и молчал, думая непонятно о чем. Иногда прямо посреди чтения вставал и уходил; Плюша, осекшись, глядела в книгу. Не понравилось, думала. Или голос ее надоел.

Эту историю дослушал. Из «Евангелия детства» отца Фомы, над которым просиживала Плюша.

— Рассказ фантастический читал когда-то. — Евграф слегка отодвинулся от Плюши. — Создали такое оборудование, которое может отгонять этих... Которые за душой в момент смерти приходят, чтоб в ад унести. Научились посылать отгоняющий сигнал. Такая услуга... За бешеные бабки...

Вылез из простыни, поднялся, голый, белый, в дражных шортах. На спине, как язва, темнела татуировка, сделанная недавно. Какие-то слова санскритские. Перевод от нее скрывал.

— А души их вместо ада в специальное оборудование помещали. Вроде адронного коллайдера. И тоже так, что эти, которые за душами, не могли туда вовнутрь проникнуть. Защитные поля и всякая такая фигня. А внутри — типа рая, энергии, поля такие, чтоб

души кайфовали, и все это поддерживалось... — зевнул, стал скручивать сигарету.

Плюша глядела на спину в шевелящихся санскритских буквах. Сладко-горький запах дошел до нее.

— А откуда они знали, что душам там хорошо?

— Не знаю! — Евграф повалился обратно на тахту. — Подвинься... Знали как-то. Люди, блин, будущего... Подвинься, говорю! Всю кровать своей жопой...

Плюша сдвинулась на самый край и поджала губы. Евграф раскинул ноги, стал искать рукой пепельницу.

Плюша спросила, что было дальше. От неудобного сидения у нее стала затекать спина.

— Дальше... — нахмурился, вспоминая. — Гробанулось у них все. С этого рассказ и начинается. Сигнализация, лампочки мигают, всякая такая фигня. Утечка душ! А эти, из ада, уже на подхвате: ловят и утаскивают. Классно, кстати, показано. А потом весь рассказ — расследование, как это случилось. Компания банкротится на судебных исках, она ж душам клиентов вечное блаженство гарантировала, а тут — опаньки... Вначале, думают, типа диверсия. Из другой компании, конкуренты. Потом на священника одного думают. А оказалось...

Смотрит на Плюшу. Убирает ногу.

— Что на самом краю сидишь? На пол сейчас грохнешься...

Плюша осторожно подвигается. Но не сильно.

— Оказалось, это души, которые внутри, сами вырваться решили. Фигово им в этом раю стало.

Плюша молчит. Евграф молчит, курит. Дым плывет по комнате и распускается под настольной лампой.

— Вот и я, блин, думаю... Живем как в раю. Войны нет. Жрачки полно. Шмотья полно. Телки сами подползают, только свистни...

Плюша сжалась. Промолчала.

— Репрессий нет. Да, нет репрессий, что смотришь? Таких, как тогда, нет. Чтобы тысячами. Десятками тысяч!

Она не об этом...

— А я — об этом! — Евграф встает, распахивает форточку. — Живем, блин, как в раю...

Ледяная волна набегаёт на Плюшу. Холодно!..

— ...А самим тошно, — не слышит ее Евграф. — И завидуем этим, которых тогда на поле... Мазохистской завистью. Недавно группу одну туда водил. Так там парень один, лет двадцать...

— Холодно, — повторяет Плюша.

Он стоит возле окна, татуированный, чужой. В дражных шортах и с амулетом на костлявой груди.

— Есть что жрать?

Плюша поднимает голову. Она приготовила сосиски. С кетчупом.

— Соси-и-иски! — морщится Евграф.

— Можно макароны к ним сварить...

— Лады... Ну, давай тогда уже!

Плюша выходит на кухню.

Она больше не может. Сухой свет из лампочки ест глаза. Больше так не может.

Дранные шорты Евграфа, мертвая настольная лампа, пепельница. Все это теперь в ее комнате. Все это в закрытой той самой комнате.

— Кончайте вы эту достоевщину, — говорил Ричард Георгиевич, которому Плюша иногда плакалась. И сердито покашливал в кулак.

От мамыси Плюша свое нервное состояние скрывала. Лгала, что все хорошо. Мамуся, однако, чувствовала, давала какие-то травы. Просто травки, отвечала на молчаливый Плюшин вопрос. В чай клади.

Плюшенька клала.

Евграф покрылся сыпью. Расчесывал ночью до крови. Плюшу, однако, не выгонял.

У нее стали дрожать руки и зашатались сразу два зуба.

Так, с шатающимися зубами, и открыли в музее долгожданную выставку. На фоне большого портрета отца Фомы выступили, сменяя друг друга, гости. Выступил местный архиерей с пушистой серой бородой и двумя парами очков, которые он переодевал до и после чтения речи. Выступил немного нервно отец Гржегор. Выступила пара неизбежных депутатов, мужчина и женщина.

На фуршете оживленно переговаривались и тинькали пластиковыми бокальчиками. Сотрудницы сами резали бутерброды и бегали с пирожными. Плюша тоже побегала, быстро устала: от выпитого ее влекло на диван. Присела в уголок и неожиданно для себя заплакала, но тут же взяла себя в руки и вытерлась салфеткой. Ей хотелось выглядеть королевой праздника... Хотя бы одной из королев.

Гости разошлись, музейщицы допивали и доедали остатки; что затруднялись доесть, укладывали в холодильник. Плюша осушила еще один пластиковый

стаканчик и заела ломтиком заветренного сыра. Снова потянуло на слезы. Вместо этого порылась в древней своей рассыпающейся записной книжке и отыскала телефон Катажины. Трезвой она бы побоялась ей звонить, а тут — была не была...

Катажина долго не брала трубку, потом долго не узнавала. Наконец узнала и даже проявила радость:

«Как хорошо, что вы позвонили... Как раз собиралась сама...» От ответа на вопрос о состоянии Карла Семеновича изящно ушла.

Плюша сказала, что хотела его повидать. Все-таки ее бывший руководитель, и она должна...

«Хорошо. — Тон у Катажины стал деловым. — Я к нему как раз собиралась. В субботу...»

В субботу Катажина забрала мерзнущую Плюшу под Калинином. Плюша ходила возле памятника и глядела на голубей.

В машине разговаривали мало.

— Вы, говорят, замуж вышли? — спросила Катажина на выезде из города.

Деревья, деревья, деревья...

Рядом с этими плотными лесами и разрывами полей ее «достоевщина» с Евграфом показалась вдруг маленькой. Само имя «Евграф» звучало все тише и таяло, как туман от Плюшиного выдоха на стекле.

Евграф...

Евграф...

Плюша вздрогнула. Открыла глаза.

Катажина припарковалась под рябиной; несколько ягод упало на капот. В детстве Плюша низала из них бусы — самые недолговечные.

Дачный поселок был мертвым. Катажина доставала из багажника продукты, хруст пакетов раздавался в ледяной тишине.

Все окна дома были темными, кроме одного, на втором: светилось желтым огнем.

— Профэсор! — позвала Катажина. — Пршиехалишмы!<sup>1</sup>

Окно молчало.

— А где собачка?

— Ушла... — Катажина стала отпирать дверь.

Перед домом Катажина снова покричала по-польски.

Внутри было холодно, Катажина зажгла свет:

— Не разувайся! — и пошла сама по коврику в сапогах, оставляя кусочки снега.

Внизу никого не было. На столе темнел нетронутый завтрак.

Поднялись по лестнице наверх в комнатку, где тогда ночевала Плюша.

Катажина приоткрыла дверь, упали книги.

На полу была груда книг. Как тогда в гараже. Почти до лампы.

Катажина стала яростно их разбрасывать.

— Помогай!

Книги были на польском.

Через несколько минут они отрыли его.

Катажина присела на корточки:

— Я так и знала, — проверила пульс, отерла о себя руку и поднялась.

Плюша все еще стояла со стопкой книг.

---

<sup>1</sup> Профессор! Мы приехали!

— Ну, ты довольна? — Катажина вырвала у нее книги и швырнула на пол. — Повидала? Боже, зачем я ему сообщила, что ты приедешь! Он бы еще, может...

Плюша заплакала. Терла лицо грязными от книг руками, дергались плечи.

Катажина глядела на нее брезгливо:

— Идем, что покажу... — взяла за руку, вывела в другую комнату.

Плюша сморгнула слезы и остановилась. Перед ней стояли две женщины, с длинными волосами, голые. Вначале, сквозь слезы, показалось, что даже живые.

— Дерево. — Катажина пощелкала одну.

Плюша спросила, кто это.

— Его жены. Последняя его фантазия.

Плюша рассматривала раскрашенные статуи. Обе были с барочными, вздутыми формами.

Одну Плюша узнала: с картины «Девушка и Смерть». Только лицом была... да, лицом очень походила на Плюшу. Плюша поглядела на Катажину. Катажина кивнула.

А вторая, широкая, с тяжелыми руками и оплывшей грудью, — Катажина.

— Выходил сюда и обнимал их!

Плюшу знобило.

— Статуи — что! — Плюша с Катажиной уже были внизу, на кухне. — Он книги ел. Страницы пережевывал! Приезжаю, а он тут ням-ням... Пришлось все книги увезти. Кроме польских. Тайком их на чердаке спрятал...

Плюша держала ладони над огнем, грелась.

— Ты поняла, как он это сделал? Привязал веревку к дверце на чердак, лег на пол, дернул, оттуда книги и повалились...

Да, Плюша заметила и открытую дверцу в потолке, и веревку.

— Сейчас согреемся и все уберем, все эти книги чертовы. Не нужно, чтобы знали. И статуи эти увезу. Как привезла по его заказу, так и увезу теперь. Положим его на диван...

Плюша предложила позвонить Геворкяну.

— Нет-нет, ты чего? Зачем? Сами справимся. Да я сама его на диван перетащу, ты не бойся. Хочешь паштетика куриного? Я там в сумках привезла... Да я сама все сделаю!

И по-хозяйски обняла Плюшу, обдав горьким своим запахом.

Желтый — цвет судьбы. Две желтые деревянные женщины.

Беру это себе в комнату...

Желтый автобус, в котором она едет на похороны. Мерзлые, того же цвета хризантемы, скрипучая обертка. Вот так же в автобусе, как и тогда, на защиту.

Желтое лицо Геворкяна. Плюша вдруг видит, как он стар. На кладбище все выглядят старше своих лет. А она? Глядит на свое отражение в луже. В застекленном портрете Карла Семеновича. В окне автобуса.

Беру это себе в комнату...

Ночью редактирует желтые шершавые странички: иеромонах Фома. Сидит, покусывает ручку.

«Существует ли Судьба? Да, для тех, кто живет во грехе, она существует.

Грех действует по тем же законам, что и природа; можно сказать, он действует через законы природы. Вся природа незримо пронизана грехом: отпадением



Денницы, которое было закреплено грехопадением Адама и Евы. С той поры бóльшая часть Вселенной, включая нашу Землю, наполнилась холодом, мраком и огнем, став зримым образом ада. С той поры грех являет себя через законы природы, по которым человек страдает от разных заболеваний, стихийных бедствий, смерти.

Непостижимость действия этих законов для грешных и есть Судьба.

Камень падает по законам природы, но то, упадет ли он на голову проходящего внизу человека или нет, — уже не закон природы. Это уже обусловлено грехами — не только этого несчастного, может, его родителей или даже первородным грехом Адама. Грехи действуют в мире, они являются причинами. Они накапливаются, подобно электрическому заряду, а потом, как молния, происходит разрядка.

Мне думается, под Законом апостол Павел разумел не только Закон Моисеев, но и закон природный».

Как это понять, думает Плюша. Как это понять... И засыпает. Белое поле, серое солнце. Кто она, откуда она, и почему — комната?

Через три месяца Плюша все рассказала Геворкяну: приезд на дачу, книги, тело.

К этому времени она уже полностью перешла в Музей репрессий. Стояла теплая весна, Плюша обнашивала новое платье. В зарплате она с переходом не потеряла. Геворкян был там замдиректора по науке.

Геворкян слушал молча, постукивая по плексигласу. Тюк, тюк... Плексигласом был крыт стол. Тюк!

— Убила она его, — поднялся, деловито включил чайник. — Он же из богатой семьи. Наверняка было там что-то и кроме профессорского оклада. Высосала из него все и убила.

Плюша помолчала и спросила: как?

— Не знаю. Это чтобы сделать человека, есть только один способ, а уничтожить — сотни... Вскрытия не было, старикам не делают. А для вас она устроила этот спектакль с книгами. Ну, подумайте. Как можно было самому положить книги так... потом еще запереть дверцу... чтобы они лавиной на него посыпались?

Геворкян говорил отрывисто, стучал пальцем. В чайнике гудела вода. Плюша сутулилась.

— Я помню ее дипломную работу, она писала по Гойе. Мы тогда еще с Карлом дружили, я был оппонентом. Конечно, всю работу ей написал Карл. Но — тема! Темы случайными не бывают. Фрески «Дома глухого». Вы помните эти фрески?

Плюша помнила.

Через два дня Геворкян вернулся к этому разговору. Зашел и с размаху сел в кресло:

— Знаете, где сейчас наша дорогая домработница? Я узнавал. В Штатах. И уже вышла там замуж. За одного профессора. К нему, собственно, и ехала... Ну, что вы так смотрите? Есть что попить?

Плюша налила яблочный сок.

Подумав, налила себе тоже.

— Я театровед. — Геворкян поскреб щеку. — А люди живут по законам театра со времен Адама... Как вы понимаете, праотца, а не Мицкевича! Он, впрочем, для театра не писал. Зато какие стихи!

Откинувшись на стуле, прочел:

— *Серце уставо, пьерж юж лодовата...* Это из его «Призрака» — чудо. Вы знаете, что он был членом мистического ордена?

Плюша подняла голову: вытряхивала остатки сока.

— Мицкевич. «Ково справы Божей». «Круг Божьего дела». Анджей Товяньский... Не слышали?

Плюша помотала головой. Снова почувствовала себя как тогда, на защите диплома.

— Польский мистик. Анджей Товяньский... Ну что вы головой все мотаете? Вы не обязаны знать. Польское мессианство. «Польша — единственная христианская страна». Поляки — избранный народ нового завета, рассеяны, аки народ Израилев. Это все неинтересно.

— Нет, ну почему...

— Потому что все это кончилось. — Геворкян устало поглядел на Плюшу. — И мессианство, и всё. Есть народы, которые интересны только в состоянии несчастья, трагедии. Как мы, армяне. Как евреи. Как поляки... У этого Товяньского было, правда, забавное учение о бесплотных духах, которые руководят живущими. Тоже неоригинальное... Он исцелил жену Мицкевича от невроза, она была, вообще-то, невротичка, — остановился в дверях. — Вы слышали, собираются снова ставить памятник Дзержинскому? «Речь Посполитая» уже поддержала, совсем наши паны там гикнулись... «*Серце уставо, пьерж юж лодовата... Щели ще уста и очи заварвы...*»

Сердце остановилось, сундук был уже ледяным. Рот и глаза были вырезаны. В мире еще, но не для мира! Какой человек? — Мертвый. Смотрите, дух надеж-

ды — это жизнь. Звезда памяти о блесках дает. Мертвые возвращаются в молодежь страны. Найдите хорошее лицо.

Плюша поглядела на Натали.

— Google Translate, — пожала плечами Натали.

Она сидела в мужской рубашке за монитором; принтер, выплюнув лист, еще урчал.

Может, можно найти литературный перевод?

— Можно... — Натали зевнула и поднялась. — Пойду картофельные оладьи нажарю. Твоя оладьи ест?

Это она больную мамусю имела в виду. Заботилась о ней.

Еще в начале той весны Плюша ушла от Евграфа. Или ее выгнали. «Кто был охотник, кто добыча — все дьявольски наоборот», — вспоминала стихи из тех, что писала ему когда-то на толстой бумаге. Ей все-таки казалось, что она сама ушла. Собрала все до последней салфеточки. Два раза спускалась и поднималась в лифте. Мог бы помочь дотащить ей до дороги: у нее потом вены выступили. Мог бы предложить остаться друзьями и поцеловать на прощание в мокрую щеку. Она ведь для него столько сделала... Полы ради него мыла, свитер начала ему вязать!

Первые две ночи после возвращения Плюша глядела на стены и думала. Сумки, привезенные от Евграфа, стояли неразобранными в коридоре.

Мамусина болезнь стала для Плюши неприятной неожиданностью. Она думала, что вернется под крыло заботы и сочувствия; получалось, самой мамусе требовалась теперь забота.

Луна лезла сквозь шторы, Плюша включала ночник и перечитывала свою дипломную работу, за стенкой ворочалась и звала ее мамуся.

Плюша шла к ней. Мамусе хотелось пить. Потом нужно было предоставить ей руку и плечо и сопроводить в туалет. Стряхнуть несуществующие крошки с простыни. Снова налить воды, но не такой ледяной, как в прошлый раз.

Дипломная работа звучала голосом Карла Семеновича. Смерть целовала девушку, девушка вырывалась, звала на помощь, замолкала, ложилась на траву, устраивалась удобней. И листок подорожника шевелился от ее горячего дыхания.

И снова, и снова ручей. Но не такой веселый и шумный, как летом. Желтый лист, качаясь, проплыл по нему. И еще следом один.

Воздух теплый, но голым ногам уже прохладно. Березовые сердечки шуршат под ними — цвета осени, греха и судьбы.

Она расшнуровывает корсет. Лицо ее неподвижно, только ресницы дрожат. Стягивает юбку, прижимает к себе: тепло и колко. Занимается чулками.

Невесело раздеваться в осеннем лесу, еще печальней — лезть в ручей. Но таков ритуал. Облетевшие ветви обдают ее затейливой тенью.

Опускает одну ногу в поток. Ой!.. Теперь вторую.

Мягкое дно растворяется под ступнями, вода становится чуть мутной.

И снова прозрачна: со стволами, небом, солнцем.

Она зачерпывает немного этого ледяного солнца и бросает им на себя. Стонет от восторга и холода и вся погружается, присев на корточки.

Поднимается, прислушиваясь.

Лес молчит. Не слышать знакомых тяжелых шагов. Только дятел постукивает. Тук-тук. Тук.

Быстро вытирается, стряхнув налипшие к ногам листья. Шумно дышит, трет рушником спину и ноги, выбивает зубами дробь.

Останавливается, приоткрыв рот... Нет, показалось. Тих лес, тих и безразличен. Что ему темный ее жар, что ему сжигающие ее угли?

Тяжелым порывом ветра срывает с березы потоки листьев.

Она лежит на спине в листве, засыпая ею себя. Только голые колени торчат и работают руки. Не пришел. Не явился дружок ее ситцевый, безносый. Стонет она от похоти и обиды, стонет в светлом осеннем лесу. И ручей у изголовья шумит и булькает пузырями.

Осталась Плюшенька одна. С мамусей, конечно. С близкой душой, да. Но без мужского начала. «Однёрка», как говорила Плюшенька в детстве.

Вначале после ухода от Евграфа было даже как-то легко, будто крылья за спиной отросли. Никто не называл ее дурой, не требовал что-то изображать у плиты, не заставлял исполнять в постели такие фантазии, что даже мамусеньке не расскажешь: испугается. И Натали тоже не расскажешь: начнет хохмить, как обычно. У Натали мужики и все их внутренние и внешние органы

почему-то вызывали смех. Правда, и сама Плюша все это уже воспринимала смешным и пройденным этапом. И летала по квартире на крылышках свободы.

Дошло до того, что, запершись, потанцевала. Потом сердце нехорошо себя вело.

Приходил один раз Евграф. Она не пустила, голоса даже из-за двери не подала. Глядела в глазок и ногой в поисках тапки по холодному полу шарила.

Прошла весна.

Прошло лето.

Невидимые крылья сморщились и отпали. Жизнь с Евграфом, включая особенности его поведения, вспоминалась уже не в таких землястых тонах.

По ночам ее ело одиночество.

За эти полтора года она привыкла, что рядом сопит и чмокает губами что-то теплое и мохнатое; толкнет иногда коленом или забросит ей на бок мягкую руку. Или еще что-то такое сделает, по повелению природы. А теперь...

Однажды в дождь, сильный и холодный, оказалась Плюша возле магазинчика. На магазинчике светила ядовитая вывеска: «Венера и Адонис». Эротика, поняла Плюша и пошла дальше, сквозь бегущие ручьи. Ноги промокли, руки деревянные от холода; пальцев, сжимавших зонт, не чувствовала.

Остановилась.

Прошла чуть назад и потянула дверь на себя. Согреться. Только согреться и переждать ливень. Изнутри звякнул колокольчик.

— Вы поставьте его сюда...

Плюша поставила мокрый зонт, куда ей показывал молодой человек. Продавец, наверно; больше никого не было. В джинсовом комбинезоне.

— Помочь? Что-то конкретное ищете?

Плюша помотала головой и попыталась принять безразличный вид.

Магазин оказался маленьким; этот, в комбинезоне, постоянно терся где-то рядом и давал пояснения.

— Работает на батарейках, — говорил тихим, особенным голосом. — Но может и от сети.

Плюша испуганно кивала.

Пару раз даже задавала вопросы.

А это, в виде змеи... это...

Юноша быстро ответил, Плюша потупила глаза.

Осторожно прошла к другой полке.

— Здесь больше для мужчин.

Да-да. Конечно. А это... яблоко...

— А вы нажмите вот сюда. Нажмите, не бойтесь...

А это... откуда?

В углу стояли две деревянные женщины. У одной было лицо Плюши, у другой — Катажины.

— Это украшение, не продается. Но в принципе...

Плюша быстро попрощалась и вышла.

На остановке вспомнила, что забыла зонт, но возвращаться не решилась.

Пару дней обдумывала увиденное.

— Ё, ну да, — шумела Натали. — Еще как открылся, с девчонками туда зарулили, поприкальваться. Одной нашей, ты ее не знаешь, там чуть плохо не стало, так на «ха-ха» пробило... Нет, конечно, что-то себе купили. По мелочовке. А одна так вообще... Ну, ты ее не знаешь...



Плюша не знала подруг Натали. Почти как с друзьями Евграфа. Знала, что эти подруги где-то есть. Бывали звонки, когда она сидела у Натали, а сама Натали плескалась в ванной или шумела на кухне.

— Возьми, лапа! — кричала Натали, и Плюша осторожно брала трубку.

Хриплые женские голоса спрашивали Натали. Позванная Натали долго и смачно разговаривала с ними. Смеялась в трубку, точно забыв о существовании Плюши, сжавшейся в обиженный комочек на диване. Потом вспоминала о ней, быстро прощалась:

— Ладно, солнце, потом поговорим... Гости у меня. Нет, ты не знаешь... Покедова!

Плюша ревниво ковыряла диванную обшивку.

Иногда Натали приезжала откуда-то теплая, прокуренная, ленивая. «С девчонками погудели! — Заметив Плюшин взгляд, жмурилась, оголяя передние зубы. — Да тебе они неинтересны. Дуньки они». И легонько щипала Плюшу за бок.

Плюша отходила, размякала. А магазинчик иногда вспоминался, со всеми его предметами и яблоком, на которое она так и не надавила.

Дубы возле Музея репрессий порьжели.

«Да и на небе — тучи... тучи... тучи...». Плюша прохрустела по сухой каше из листьев и раздавленных желудей. Остановилась у ствола, подобрала парочку целых, задумалась. Потерла одним о щеку.

Теплые ладони опустились сзади на глаза.

— Угадывай, — дохнул в ухо сладковатый голос.

Плюша испугалась и задумалась. Ладони были мягкими, пахли тоже сладковато.

Не выдержав, сам снял их и рассмеялся:

— Кр-руковская!

В оранжевом шарфе. Макс, Максик, Максочка!

Нет, конечно, постарел, но не так чтобы. Улыбка та же. Обнимает ее, листок с плеча ее смахивает... Из Питера приехал. Да, это чувствуется.

Посидели в кафе; да, пригласил. Подали капучино с пушистой пеной, травяной чай и пирожное со сложным названием. Максик болтал, втягивал воздух, дергал под столом ногами.

Плюша разорвала пакетик, высыпала. Сахар медленно темнел и проваливался в пенку.

— А помнишь, — гладит ее по руке Максик, — как я забрался в женский туалет, а ты стояла на стреме?

Плюша помнит.

— А помнишь, я собирался перекрасить волосы в фиолетовый цвет и ты меня отговаривала? Мне так не нравился мой природный цвет, я так мучился...

Это Плюша тоже помнит.

— А теперь я крашу волосы, постоянно. Чтоб седину забить... А ты что свои не красишь?

Плюша делает глоток, еще один. Сахар пока не растворился и щекочет язык. Ей нравится теплая тяжесть чашки и пенка на губах. И это кафе, дорогое и пустое.

— У тебя что, все эти годы никого не было? Со всем? — наклоняется к ней, едва не касаясь губами.

Плюша задумывается. Называет имя...

— Ой, да ты что, — подскакивает Макс. — Евграф?! Офигейшн... Ты помнишь, как я в него был влюблен?

Этого Плюша не помнит.

— Евграф. Евграф... Я так на него глядел. А он был тупым натуралом. А у вас как все это получилось, а? — и Плюшину ладонь легонько поглаживает. И в глаза заглядывает, как в институте.

И Плюша неожиданно всё рассказывает. Всё.

Макс внимательно слушает, влезает с разными вопросами. Вытягивает подробности, качает крашеной головой. «А как он целовался?..» — «А это ты ему делала?..» Ерзает на кресле, катает пальцами колобок из салфетки.

Кофе остыл.

— Жалко, что мы не встретились до того, как у вас это началось. Я бы тебя научил. Провел бы тебе один мастер-класс. Он бы потом за тобой на задних лапках ползал. Я знаю все, что им, кобелям, нужно... Счет, пожалуйста!

Официантка отделяется от стойки и исчезает. Макс зевает и играет оранжевым шарфом.

Плюша спрашивает его, как он сам.

— Ну... Почти прекрасно. Живу напротив Летнего сада... Его, конечно, испохабили, Летний. Они же сейчас все похабят... А мне это нравится. Обожаю пошлость! — потер одну ногу о другую.

Сюда какими...

— Деловыми. Чисто деловыми ветрами. «Вихри бабловые веют над нами...» — Подирижировал пальцами. — Так бы я в эту дыру детства — никогда!

Счет все не несут.

— Активисты местные позвали, акцию какую-нибудь организовать, веселуху местного масштаба... Какие? Ну... Только никому, хорошо? Ну эти... У них, в общем, и названия нет. Консерваторы радикальные.

Плюша задумывается.

— Ну, которые везде ходят, за всем следят, на выставки разные, в театр... Ждут, когда их чувства кто-нибудь оскорбит. Ну, чтобы они могли возмущенно реагировать и устраивать свои акции. Это же классно.

Почему?

— Потому-у-у, что от этого всем хорошо. Всем-всем, и букашкам, и таракашкам. Эти, с оскорбленными типа чувствами, показывают, какие они крутые. Какие они марши протеста или еще чего-то там могут организовать, и делают на этом себе капитал. Те, которые как бы оскорбляют, им тоже классно: пиарятся по полной. Дядя-государство тоже на этом свое имеет, типа стрелки разводит, чтоб до членовредительства не доходило, судья третейский.

Счет наконец принесли.

Плюша изобразила, что собирается достать деньги; Макс остановил ее взглядом.

— А у вас тут с креативом — полный жопенгаген. И художники — три дня с ними, как идиот, общался — какие-то пришибленные, и театр — дом престарелых, сплошной Чехов... Ладно, Чеховым тоже можно как-нибудь осквернить, если мозгами подумать.

Взяв карточку, официантка ушла.

— Не хотят думать. — Макс развалился в кресле. — Не умеют. Может, один гей-парад у вас тут забабакать, а? Скромный такой парадик. «Для маленькой такой компа-а-нии». Стой, даже скажу сейчас где. Помнишь, говорила, что у вас там поле, где поляков расстреляли? Может, там? Небольшой, а? Сразу такой пиар этому полю, телевидение у вас днєвать и ночевать будет...

Плюша резко замотала головой. И засобиралась: сумка, куртка...

Они вышли в темноту, Плюша рассказывала о расстрелянных поляках, Макс печально шел рядом.

...Так и лежат в чужой земле, в чужом поле.

— А я живу в чужом поле, — сказал Макс, когда она замолчала.

Почувствовав Плюшин взгляд, уточнил:

— В мужском.

Прошли немного молча.

— Скопил года три назад нужную сумму на операцию. — Макс говорил другим голосом, без вздохов и растягивания слов. — Да, чтобы стать... Что? Много. Неважно. Уже почти договорился. И вдруг зашел в церковь. Нет, самую обычную. Я вообще-то в церкви не захожу, у меня с ними некоторые... А тут зашел. Ну захотелось. Психэ зачесалось. Обычная церковь, обычная служба, ходят с этими своими... — сжал пальцы, помаhal туда-сюда. — Зашел, постоял, вышел. А на следующий день перечислил все на счет одной детской клиники. В церкви той объявление маленькое увидел и номер счета. На него и перечислил. Детям, наверное, эти деньги будут нужнее... А я как-нибудь уж пописаю в мужском туалете. В этом тоже есть свои плюсы.

Голос Макса снова стал сладким, тягучим.

— Вот тут я живу, завтра уезжаю... — Над головой бегали светящиеся буквы, которые все не складывались в название. — В номер не приглашаю... «За день мы устали очень, на ночь мы слегка подрочим...»

Плюша поморщилась: не меняются люди. Стали быстро прощаться. Макс сунул визитку, Плюша даже не успела прочесть, тут же забрал обратно:

— Здесь все устаревшее, я тебе напишу сам. Слушай, продиктуй мне телефончик Евграфа... Ага... Это код?.. Все, сохранил.

Поцеловал ее в холодную и уставшую от сумки руку и исчез.

Плюша постояла, ковыряя асфальт длинным зонтом. Пошла на остановку. На душе было пусто, и почему-то чесалось левое ухо. Потом, в автобусе, прошло.

От встречи с Максом в голову надуло всякой дури, как выражалась Натали. Две ночи подряд шли на нее сны: первый Плюша не запомнила, просто проснулась потной, хоть ночнушку выжимай. Второй успела запомнить краешком: поле, по нему мужчины какие-то в клоунских нарядах бегают. Максик, Евграф. Начинают падать бомбы, клоунов разрывает на части, летают какие-то кишки и лохмотья, и Плюша слышит голос: «Это ангелы их бомбят! Ангелы вышли на битву с клоунами!»

И снова мокрая ночнушка и валерьянка, запитая кипяченой водой.

— А нечего с педиками общаться, — говорила Натали, крутя фарш. — Они ж как жвачка. Вначале сладко, потом пресно, и проглотить нельзя... Жуешь-жуешь. А мужик... Мужик должен быть как комплексный обед в заводской столовке. Не такой прямо вкусный, зато сытный. Поешь, и пузо радуется.

И продолжала вертеть ручку.

— Надоела мне, ё, эта шарманка папы Карлы. — Натали придельывала соскочившую ручку обратно. — Электромясорубку хочу купить. Или кухонный комбайн сразу. Видела вчера один, «Филипс». Красава,

компактный, плавная регулировка скорости, импульсный режим...

Докрутила фарш, посолила, потрясла специями. Отвинтила мясорубку, сунула в раковину, под струю.

— Мой покойный уж как надо мной издевался... — вытерла руки. — Как я от него в душе была! А если так поглядеть, то, знаешь, грамотно издевался. Конкретно, как мужик. Не извращая технологию. Мне даже, знаешь, что иногда казалось...

Облокотилась о холодильник. Струя била по раковине.

— Да нет, бред... — хмыкнула. — Сказать? Ну, что тот Гришка и мой Антон — одно и то же. Что отомстил мне Гришка так. Через загс.

Плюша задумалась.

— Ну да, говорил, конечно, что умер. — Натали ожесточенно терла мясорубку. — Поди проверь. Они ж детдомовские, братья-акробатя. На могилу Гришкину меня не брал. Есть вообще в природе эта могила? У Антона, правда, моего одна нога чуть короче, а у того сволоча Гришки ноги нормальные... Но ведь Антон-то и придуриваться мог, с ногами: я ему что, рулеткой их мерить буду!?

Котлеты были наклеплены и жарились в молчании.

Натали курила. Плюша сбежала в комнату от открытой форточки, лежала на диване и вязала для Натали безрукавочку. Одновременно думала над словами Натали и находила в своей жизни тоже много разных двойников. Хотя бы Карла Семеновича и Ричарда Георгиевича. Ей иногда казалось, что это один и тот же странный и несчастный человек. Только имена разные и нации. И Ричард Георгиевич младше. И курит.

«Все отражается друг в друге».

Откуда это? Отложила вязанье, провела ладонью по уже связанному, теплому... Да, отец Фома. Про зеркальную комнату.

Мир после грехопадения превратился в огромную зеркальную комнату. Бог, он же Добро, творит. Зло не способно к творчеству, оно только отражает. Один грех отражает другой, третий, четвертый. Иногда грех отражает добро, но всякое отражение — всего лишь отражение; отраженное добро выходит несовершенное, сомнительное. А следующее отражение — еще более отдаленное от добра, от творчества и от любви, которая есть добро производящее, рождающее.

Плюша продолжала машинально поглаживать вязание. Водила пальцами по спицам. Вспоминался текст отца Фомы, который она набирала и относила Геворкяну... А Геворкян болел.

Человек после грехопадения провалился в зеркальную комнату. Из райского мира творчества, где каждый день был днем творения новых имен и новых смыслов, он провалился в мир, где можно лишь отражать, отражать одно и то же. Он стал отражением животного. Стал есть, спать, испражняться, совокупляться, как животное. Прежде он был образом Бога — не отражением, но творением Творца, творящей тварью.

Дальше шла цитата из апостола Павла, ее следовало выделить курсивом. Что сейчас мы видим будущее как сквозь тусклое стекло. А в оригинале, писал отец Фома, написано «как в зеркале». Этот мир — зеркало, мы в нем отражаем и отражаемся.

Царство Небесное — мир чистый, самодостаточный, без отражений.



Ад — мир одних отражений и подобий. Величайшее мучение — отражать, но не отражаться...

— Котлеты готовы! — сигналила из кухни Натали.

«Родился я в 1904 году в семье польского крестьянина-бедняка в Западной Белоруссии в р-не Мир Гродненской области. Работать начал с 9 лет пастухом и потом на разных работах. В 1932 году перешел границу СССР, жил в городе Первоуральске, работал на строительстве новотрубного завода грузчиком, где во время работы потерял ногу.

В 1935 году поступил на рабфак (неразборчиво). ...Учился по 1937 год, где не окончил учебу, т.к. первого октября 1937 года был там же арестован. На допросе мне были написаны вопросы и ответы, которые меня заставляли подписать. Я отказался их подписывать, т.к. там не было ничего, кроме выдумки. Что я якобы входил в группу ксендза Косовского, которая группировалась вокруг местного костела, в который я даже и не заглядывал. На допросе был один раз и очень мало времени, но за это время несколько раз заходил второй следователь и говорил, что надо скорее подписывать, т.к. я задерживаю. Я сказал, лучше расстреляйте меня, но ложь подписывать не буду.

Тогда (неразборчиво) ...сказал, некогда нам с тобой возиться, напиши, что отказываешься подписать. Я так и сделал, так и написал, что отказываюсь. После этого через несколько дней меня вызвал надзиратель в коридор и прочитал, что по постановлению особого совещания мне дали 10 лет лагерей. Через некоторое

время я был этапирован в Коми АССР, где отбыл срок до первого октября 1947 года, все время работая, хотя был инвалид...»

Издали первый выпуск документов по «Польскому делу».

Плюша вертела его, клала на стол, уходила по делам, возвращалась, снова брала и листала. Книга приятно тяжелила руку, страницы покалывали и щекотали.

Плюшина фамилия была напечатана с ошибкой. «Крюковская». Но даже это не могло испортить праздника.

Долго и муторно выходила книга — уже и не ждали.

Представительства фондов, с которыми дружил Ричард Георгиевич и которые обещали помочь, вдруг отказывались, а потом и вообще закрывались. Поляки готовы были поддержать, но требовали издать у себя, на польском. А сами документы? Добже<sup>1</sup>, но только в виде фотокопий. Зачем тогда Плюша это всё набирала? Но дело было даже не в этом: документы по «Польскому делу» должны были выйти здесь. Здесь, где пострадали эти люди...

— А вы уверены, что они пострадали совершенно невинно?

Вопрос был задан в одном из кабинетов, куда Геворкян с Плюшей пришли просить денег. Плюша даже специально стрижку сделала перед этим походом. А грипповавшему Геворкяну пришлось срочно выздороветь, затянуть шею галстуком, сидеть и убеждать.

---

<sup>1</sup> Хорошо.

Дело было сырым, ветреным днем. Два дня весь город лязгал, гудел, хлопал, падали и ползли по асфальту билборды. В кабинете, куда они пришли, вой ветра был почти не слышен и горел яркий свет. Плюша сидела в своей стрижке, щедро политой лаком, как под шлемом.

— Поймите нас правильно, — говорила женщина с усталым, почти красивым лицом. — Мы сочувствуем всем этим жертвам. Но не должно быть тенденциозности. Понимаете?

— Пытаюсь. — Геворкян мям галстук.

— Не нужно представлять, что одни были только палачами, а другие только жертвами. Надо показывать все комплекснее, шире. Я сама историк по образованию.

— Замечательно, — вздохнул Ричард Георгиевич.

— Да. Нужно давать объективный, комплексный взгляд. Есть же и документы, что некоторые все-таки сотрудничали с польской разведкой...

— У вас есть эти документы? По «Польскому делу»? Прекрасно, давайте мы их тоже опубликуем.

Взгляд женщины стал на секунду металлическим.

— Ну не конкретно по «Польскому делу»... И вообще... — Взгляд снова покрылся поволокой кабинетной усталости. — Зачем так педалировать, что дело было польским, зачем показывать нашими жертвами иностранцев?

— Они не были иностранцами, Алла...

— ...Леонидовна.

— Алла Леонидовна. Они все были нашими гражданами. У них всех были советские паспорта, они все трудились на благо нашей страны... А «польскость»

дела не мы педалируем, это ГПУ так захотелось. Наотлавливать людей, которые имели несчастье быть поляками. А многие даже не поляками, просто родились и выросли в Польше. Там и белорусы были, и украинцы, и евреи...

Женщина, растопырив пальцы, рассеянно разглядывала ногти.

— Ну, — вздохнула, глядя почему-то на Плюшу, — зачем же столько страсти... Мы всё прекрасно понимаем. Понимаем! Не нужно только зацикливаться, понимаете? Да, были репрессии, но были ведь и великие достижения. Метро построили... Комедии какие замечательные снимали! А не только ГПУ, НКВД... Да и в том же ГПУ наверняка работало немало талантливых и честных людей. И мы как историки должны это все показывать. Комплексно! А не одни только репрессии и расстрелы. Понимаете?

— Теперь, кажется, да. — Геворкян шумно приподнялся, чтобы уйти.

Плюша тоже поднялась. Встала и хозяйка кабинета:

— Вот церковь, например... Сколько ювелирных ценностей у нее отняли, сколько священников пострадало! А недавно одного старенького батюшку спрашиваю: «Батюшка, правда ведь у нас была великая страна?» А он знаете что отвечает? «Правда, доченька. Душевность была». Такому широкому и мудрому взгляду нам бы всем поучиться.

— Всего доброго, — сказал Геворкян.

Плюша повторила эхом «всего доброго» — и тоже вышла.

В коридоре Геворкян резко стянул галстук и сунул в сумку.

Те дни вообще были тяжелыми. Музей репрессий, который был общественным, оказался вдруг на мели. Плюша ловила отдельные слова: «аренда», «коммунальные»... Геворкян болел, жена Геворкяна была где-то в Германии «по гранту», Плюша сама ездила за лекарствами, приносила ему бананы, зелень — Геворкян жил недалеко от музея. Правда, скоро музею пришлось переехать из старого особняка в другой, одноэтажный и не совсем в центре... Плюша возилась с коробками, архивом, кашляла от пыли, рядом стучала молотком Натали. Иногда Плюша отвлекалась от коробок и любовалась Натали и ее легкими и точными движениями. Себя Плюша ощущала медузой.

Геворкян в болезни был молчалив. Полулежал в пижаме, скупно благодарил за бананы, скупно интересовался музейными делами. И замолкал. Молчание Геворкяна было каким-то важным, окутывающим. Плюша боялась нарушить его или уйти. Она чувствовала: Геворкяну приятно, что она сидит вот так и делит с ним эту сумеречную тишину. Иногда он мог что-то сказать. Например, о своей родне, которая вся жила в Ереване и звала его к себе. Или о медсестре, которая приходила к нему.

— Милая. Но все время говорит: «по ходу». «Я вам давление, по ходу, померю». По ходу чего? Ничего. Улыбается: «Все так говорят». Да?

Плюша кивает.

— В девяностые, помните, — Геворкян поправляет подушку, — все говорили «конкретно». «Чисто конкретно». Хотя ничего конкретного не было. Неопределенность, хаос. Чистоты не было тем более, грязь жут-

кая на улицах, помните? Теперь стали: «по ходу». По ходу... А хода-то и нет. Застыло все. Никакого хода...

Пижама чуть расходилась на его животе, в прорезь виднелась покрытая седой растительностью кожа. Плюша отводила глаза.

Серые, ветреные недели прошли.

Поднялся с постели Геворкян. Пытался набрать прежнюю активность, звонил, договаривался. Его даже снова позвали на телевидение.

— А нашу подругу, «по ходу», сняли, — объявил, распахнув дверь к Плюше в кабинет. — Аллу свет Леонидовну. Которая комплексность нам тогда проповедовала.

Которая историк?

— Такой же, как я — папа римский. Ее и еще парочку таких же «историков». Там теперь новые люди, непонятно пока какие. Вроде вменяемые. Я им снова про наш польский сборничек закинул, а вдруг?

В общем, запахло надеждами. Даже снег сыпал и таял не так уныло, а как будто что-то тихо обещал. Плюша довязала безрукавку Натали; Натали теперь в ней разгуливала и успела запачкать чем-то техническим. Геворкян выступил по телевидению против памятника Дзержинскому, предложил вместо этого поставить отцу Фоме. Выступая, сильно нервничал — было видно.

И вот книгу издали.

И Плюша ходит вокруг нее.

Зашел Геворкян.

— Обмыгть бы надо. Да, еще новость, — почесал карандашом затылок. — Предлагают нам «крышу». Перевести музей из общественного в государственный...

Плюша задумалась. С одной стороны...

— ...И с другой — тоже, — сощурился Геворкян. — «Бойся данайцев, дары приносящих». А другого выхода у нас, похоже, нет... по ходу!

Смена статуса чувствовалась пока несильно. Поменялась вывеска: «...государственный...». Геворкян ушел в бумажки: занимался перерегистрацией. Стали регулярней выдавать зарплату. Плюша сфотографировалась на новое удостоверение. «На болонку похоже», — сказала Натали. И тут же полезла обниматься.

«Данайцы» пока молчали, в музее оставалось все как было. Плюша готовила второй выпуск по «Польскому делу». Большая часть его касалась иеромонаха Фомы.

Иеромонах — это ведь священник?

— Да, только из монашествующих... — Геворкян шел рядом, в шапке; Плюша чуть поддерживала его за локоть. — А вы в церковь не ходите?

Плюша сказала, что она некрещеная.

Геворкян остановился, поглядел из-под мехового козырька:

— А вы на монашку похожи.

Позавчера ей сказали, что на болонку...

— Догадываюсь кто. Интересно, кстати, почему нашу подругу зовут таким изящным именем.

Плюша не знала.

— А я вот о крещении уже подумываю... Хотя бы для того, чтобы встретиться там с ним. Как вы думаете, он пожелает со мной встречаться?

Плюша поняла, о ком речь. Об отце Фоме: Геворкян часто теперь говорил о нем, не называя даже по имени. «Он». «Его». «Ему».

Натали вдруг влюбилась. И во что, главное... Не ожидала от себя такой дури на старости лет. Сиди на в бороду, бес... если б еще в ребро! С ребром бы как-нибудь справилась.

Началось с того, что записалась в эту группу сталкерскую, на поле. Ну да, к Евграфу. Плюшке, конечно, ничего не сказала, чтобы ее ранимое воображение не беспокоить. Просто по интернету записалась. Давно хотела послушать, чего там такого мистического, что туда ходят. Ну да, захоронения. Ну так на кладбищах тоже захоронения, и ничего, никаких экскурсий с записью по интернету.

Собирались в кафешке неподалеку. Не, не в той, в которой они с Антоном тогда этот знаменитый суп хлебали, в другой, попроще. Народ собирался вяло, пара каких-то мутных парней, Фадюши ее, наверно, ровесников. Тетка какая-то игривая подползла, из молодых Гурченков. Хи-хи, ха-ха, а вы верите в мистику? Натали отодвинулась от нее и взяла себе кофе. Еще какой-то мужик пришел, вообще без внешности, бородка — не бородка, что-то такое. Ну и Евграф, конечно, сел, стал инструктаж проводить. Хорошо хоть, запаха этого рыбьего от него не было, который ей тогда показался.

Натали вначале его слушала, потом задумалась. Скучно стало. Уйти, не уйти? Осталась, кофе допила.

— Идти строго за мной, — вколачивает свое Евграф. — С тропы не сходить...

Бред, короч. И тетка эта на каждое слово кивает. Придушила бы, честное слово. Еще, что ли, кофе взять?

А погодак ничего, солнышко такое. Ладно, хоть прогуляться. Что он говорит-то там?



— Назад не оглядываться. Вопросы?

— А это не опасно? — тут же лезет тетка.

«Опасно, — хочет сказать ей Натали. — Очень опасно, зая, вот сиди тут и никуда с нами не иди. А лучше вообще дуй домой — и с внуками мультики смотреть».

— Нет, — улыбается Евграф, — если будете выполнять инструкции.

Хорошая у тебя улыбка, товарищ сталкер. Не Голливуд, конечно, но с пивом сойдет. Ну что, айда?

В дверях чуть ли не прижался к ней:

— Как там Полина?

Натали даже не сразу въехала, о чем предмет. Пяюшка, что ли?..

— Да классно, — отвечает, — монашкой собралась стать!

Преувеличила, конечно. Хотелось просто зацепить чем-то Евграфа этого. Хотя что он ей, в общем, дался? Не мужик, а так... сталкер. Что это он отшатнулся, испугался, что ли? А, они уже вышли. Нет, зря про монашку сказала. Надо было что-то другое придумать.

Дошли до забора, перед забором он их, как октябрят, выстроил. Натали думала, сразу ее после себя поставит; нет, вначале того мужика, потом одного из этих, смурных. Хорошо хоть, тетка эта после нее, стошнило бы все время ее попку перед собой видеть. Который раз замечает, как это место характер человека передает, особенно у баб. У мужиков оно как-то неприметнее, не так подвижно. У Евграфа так вообще от затылка до пяток одна прямая линия. Зато лицо вон какое, и улыбка. Еще раз, что ли, его улыбнуться попросить?

Обошли забор, дошли до пролома. Снова инструкции. Идти молча, след в след. В местах, где он скажет, братья за руки. Ну детский сад какой-то...

Вышли на поле. А где солнце? Только что светило. Впереди Евграф, за ним мужик, потом паренек этот. Натали идет, серую землю разглядывает. Женат? Да нет, наверное, не женат. А ей-то что? Что ей, Анто-на не хватило?.. Может, и не хватило. Может, еще бы с ним побаловалась, если бы жив был.

Тяжело что-то идти. Сколько раз тут ходила, все поле исходила, и ничего. А сейчас тяжело. Да, след в след. Слушаюсь, товарищ сталкер.

И звон какой-то в ушах. Да нет, какие комары, для комаров рано. И писк другой, не их. Натали останавливается, вытирает пот.

— Не останавливаться! Останавливаться только по моей команде!

Натали ловит ртом воздух и идет дальше. Ждет, что сейчас что-то о расстреле скажет. Нет, молча идут.

Вертолет летит. Низко, точно сейчас колесами ее заденет.

— За руки!

Натали пытается поймать ладони идущих рядом, но они как-то ускользают от нее.

— За руки!

Натали снова останавливается и смотрит назад. Глаза сами собой закрываются, она пытается удержать их открытыми. Тетка... Парень...

Чья-то рука сжимает ее похолодевшую ладонь. Теперь и другая ее чувствует чье-то тепло. Да, все в порядке. Нет, не надо.

Потом они долго идут по полю. Час, наверное. Но часов у нее нет, не взяла, условие было такое. Раза два снова брались за руки. Ей хотелось взять за руку Евграфа, взять и крепко сжать, чтоб почувствовал. Но он был через двух, приходилось довольствоваться менее интересными ладонями. И еще разболелась голова, хотя Натали редко свою голову чувствовала, разве что с похмелья.

Прощались недалеко от Наталийкиного дома. Два парня как были вначале вареными, так вареными и остались. Подоставали, как только стало можно, айфоны, о чем-то в стороне шептались. Тетка походила вокруг, повертела попкой, заявила, что получила заряд на год вперед, и тоже отвалила. Мужик без внешности предложил довезти Натали до дома.

— Да я тут вон, недалеко, — мотнула Натали носом в сторону своей пятиэтажки.

— А я испугался, думал, вам там плохо стало... — Голос у мужика был такой же, как и лицо, стертый, без изюма.

Натали слушала его, потом устала и повернулась спиной. Когда обернулась обратно, его уже не было. Хуже, что успел смыться и Евграф. Нет, конечно, официально попрощался, собрал деньги, поблагодарил. Даже посмотрел как-то так, со смыслом. И исчез, собака. Натали оглядела поле, сделала ладонь козырьком. Пустота. Только птицы, и борщевик качается. Вроде того, под которым Гришуня ее когда-то со своим мужским хозяйством знакомил... Сплюнув, Натали пошла к своей пятиэтажке.

Неделю где-то Евграф сидел у нее в голове. И не просто сидел, а шерудил изнутри ее мыслями, катал

их и заплетал в какие-то дурацкие гирлянды. Натали, с ее трезвым умом, эти гирлянды и ночные образы раздражали, но унять разбушевавшуюся фантазию не могла. Съездила к психологу, выслушала про себя похожее на правду, задумалась еще сильнее. Сходила тайно на концерт его группы «Иван Навин», порала среди молодежи; стало у нее в машине бұхать «Иван шел по мелколесью...» Даже Плюша обратила внимание. Пару раз уже списаться в Сети с ним собиралась. Ну и хорошо, что не собралась. Даже представить тяжело, во что бы это закрутилось с ее характером-кипятком и сколько потом машин дерьма пришлось бы вывозить. А что кончилось бы именно нулями, Натали мудрой половиной своей головы прекрасно понимала, и запах гнилой рыбы от него все же чувствовался, пусть и несильно. А где от мужика такой запах, там ловить нечего. Дыма много, огня мало.

Помаявшись недели две, позасыпав и попросывавшись с порнографической «киношкой» в голове с участием Евграфа, Натали стала понемногу остывать. Вернулась по утрам к холодному душу, стала снова, как при Фадюше, вокруг дома бегать. На фитнес записалась, даже Плюшу туда попыталась привлечь, ей бы с ее «фегурой» через букву «е» не повредило... Не, не пожелало ее величество. Тут как раз по бизнесу дела пошли, снова консультировать позвали. «Стало море потухать и потухло», — вспомнила Натали строчку из книжки, которую в детстве Фадюше читала. Пришла, короче, в норму; потухло море ее, успокоилось. Стерла «Навина» из машины, раздружилась с Евграфом в Сети. А Плюша, главное, ничего и не заметила. В очередных своих мыслях ходила, рассеян-

ная, переспрашивала всё. Насчет монашки Натали, конечно, тогда загнула, но что-то в Плюшке такое стало заметно, в этом направлении.

Постояв и помявшись возле темных дверей, Плюша вошла в церковь.

— В брюках нельзя! В брюках нельзя! — зазвенел строгий голосок.

«...Нельзя, нельзя...» — разлетелось под сводами.

Плюша тихо сказала, что она в юбке, и остановилась, на всякий случай проведя по ней ладонью.

— Ой, сослепу не разобрала... — Старуха из-за прилавка строго оглядывала Плюшу. — Повадились девчонки к нам в брюках заходить, как будто тут не церковь, а не знаю... А платочек все-таки наденьте, не положено без платочка...

Плюша собралась идти назад: платка у нее не было.

— А вы прямо всё, Елена Сергевна, знаете, — выглянул из внутренней двери батюшка, — кому чего надевать...

Батюшка был белобрыс, узкоплеч и поблескивал в полутьме крестом.

— Так сама я, что ли, придумала? Благословение отца Мелетия.

Батюшка вздохнул.

— Замужние должны голову покрывать, замужние! Как знак того, что под мужем. А если не замужем, то для чего? А если еще некрещеная?

Говорил он нервно, сглатывая концы. Подошел к Плюше.

— Как там у вас в музее? Давно не ходил. С той уже выставки... По делу к нам заглянули или так... просто?

Плюша ответила, что просто.

— Это хорошо, — кивнул батюшка. — Как там у Ричарда Георгия дела? Трудится?

От чувства неловкости в незнакомом священном месте Плюша вспотела и теребила куртку.

— Передавайте привет. От отца Игоря, меня то есть. Очень нам тогда помог материалами. Возимся все с канонизацией, конца не видно.

С отцом Фомой?

Отец Игорь хмуро кивнул.

— Бюрократия... Подали в Москву, в комиссию по канонизации. А оттуда отказ. Пишут, на допросах не так держался. Не как святой. Чудес еще на могиле требуют. Где мы им эти чудеса возьмем? Даже захоронение неизвестно... Говорят — слышали, нет, — там, над тем полем, в ночь на Пасху световой столб поднимается, не слышали?

Нет, Плюша не слышала. И не видела. Да, она там рядом живет. Перед самым этим полем.

— Заговорил я вас? — улыбается глазами батюшка. — Вы ж, наверное, главе поклониться пришли... Вон она, прямо перед алтарем. Столько народа эти дни было, а сегодня полдня тихо, повезло вам. А завтра уже увозят от нас.

Плюша застеснялась сказать, что она не за этим. Что вообще не слышала ни о какой «главе»: новости не проглядывала. Просто проходила мимо, загляделась на тихий свет в окнах, потянуло зайти.

Послушно пошла к алтарю. Остановилась, вернулась к батюшке. Можно ли некрещеным?

— Можно... Да вы подойдите поближе, не укусит! Батюшка сделал несколько шагов вслед за Плюшей.

Что-то проворчала старушка. Отец Игорь назвал имя святого, Плюша не разобрала.

Череп желтел в стеклянной призме.

Рядом лежали сложенные листки бумаги. Записочки с просьбами, догадалась Плюша. Горько пахло хризантемами, стоявшими вокруг. Некоторые были поломаны, два-три соцветия валялись на полу. Сам пол был кое-где мокрым.

Плюша глядела на череп, вспомнился тот, который был у них в изостудии. И как на него шапки надевали.

Заметила, что стекло замызгано, кое-где следы помады. Надо, наверное, поцеловать. Батюшка успел отойти, тихо переговаривался с кем-то. В церковь заходили еще люди, гудела дверь.

Плюша вспотела, поцеловала стекло и отошла. Хотелось уйти незаметно, давила неловкость.

— Креститься если надумаете, вот мой номер. — Батюшка отвлекся от разговора и обернулся к Плюше. — Надо только пяток огласительных пройти, бесед то есть... Нет, не я провожу, а отец Мелетий, он у нас... Я больше по детям работаю. Ну да, да, конечно, идите. С Богом! Заговорил вас. Ричард Георгичу поклоны. Если что, к вам обратиться можно будет, мы сейчас для Москвы новые бумаги готовим, по отцу иеромонаху... Да нестрашно, у Ричард Георгича телефончик ваш возьму. С Богом, с Богом!

Плюша взялась за бутристую ручку двери. Обернулась. Несколько женщин деловито опускались на колени перед стеклянной призмой. Плюша с силой потянула дверь на себя и вышла.

Засохшее соцветие хризантемы хранилось в запертой комнате.

Много чего хранилось там. Плюша даже подумывала, не устроить ли там музей. Домашний. Музей своей семьи. Одну стеночку посвятить папусе. Повесить туда его фотографии, где он молодой, где-то на югах в черных трусах до колен, а потом в костюме. Положить туда его майку и тапочки, которые мамуся хотела выбросить после его ухода, а потом сказала, что не будет его вещам мстить, они-то чем виноваты.

А другую стену оформить мамусей. Плюша тоже не все вещи от нее уничтожила — на постоянно действующую выставку хватило бы.

Насчет третьей стеночки Плюша колебалась: Евграфу отдать или Карлу Семеновичу? Евграфу, конечно, не настоящему, не этому, который ее в комнате запирает и принуждал полы мыть, а тому, который жил у нее в воображении. Она бы разложила там все, что ради него делала. Стихи, которые переписывала ему; салфеточки, которые вязала; носок, который ему заштопала, а он отказался потом его носить... Или оформить третью стенку Карлом Семеновичем как человеком более достойным? Доктор наук, профессор, наставник... Она положит туда его книги, зубную щетку с его дачи и сухой листик березы оттуда же. Или все-таки — Евграфу?

Зато насчет четвертой стенки сомнений у Плюши не было, чья будет. Их, конечно. Мужчин, ставших детьми. И тех, ушедших из их дома. Но, главное, тех, кто там, в окне. Потому что стенка эта прямо напротив окна, где их поле. Там, на этой стенке, будет настоящая экспозиция, почти как у нее в музее. Плюша хранила все копии



документов: складывала, берегла. И главными будут, конечно, документы по делу отца Фомы. И фотография из его дела, где он уже обритый, без бороды, с торчащими скулами. Это ничего, что его еще не это... не канонизировали. Она его сама канонизирует и цветы из лоскутков к этой фотографии возложит.

Так она, правда, и не собралась этот музей сделать. Лежали вещи в страшной комнате неразобранными и даже не описанными, в беспорядке. И заходить туда Плюшешний раз не хотелось: были причины.

*Допрос 3 июля 1937 года*

Вопрос: Вы арестованы за к. р. деятельность, которую вы проводили среди населения. Признаете ли себя виновным?

Ответ: Виновным себя не признаю. Никакой контрреволюционной деятельностью не занимался.

Вопрос: Следствием установлено, что вы принимали активное участие в 1936 г. в организации выступлений в связи с планировавшимся сносом здания бывшего католического костела. Дайте показания.

Ответ: Как православный священник, в 1936 г. никакого участия в организации выступлений в связи с планировавшимся сносом здания бывшего католического костела не принимал.

*Допрос 10 июля 1937 года*

Вопрос: Вам предъявляется обвинение в распространении контрреволюционной агитации. Признаете ли себя виновным?

Ответ: Если следствие считает, что я виновен, выносите какой угодно приговор, а я от дачи показаний отказываюсь.

*Допрос 11 июля 1937 года*

В о п р о с : На допросе 9 июля вы упорно утверждали, что не вели никакой контрреволюционной агитации. Следствием установлено, что вы систематически высказывали антисоветские проповеди. Дайте показания.

О т в е т : Признаюсь, что 1 июля 1937 года по окончании службы я выступил с проповедью, в которой обвинил верующих в их богоотступничестве и призывал к укреплению религии. Других каких-либо проповедей антисоветского содержания я не говорил.

*Допрос 4 августа 1937 года*

В о п р о с : Вы арестованы как участник организации, проводившей активную к. р. деятельность. Материалами следствия установлены факты подрывной работы, совершенные вами и другими участниками организации. Прежде всего скажите, виновным себя признаете?

О т в е т : Виновным себя признаю. Я действительно являлся участником к. р. организации церковников. Я вместе с другими участниками проводил активную к. р. деятельность, направленную к поджогу культурных очагов, разрушению советских учреждений и трудовой дисциплины. Распространял провокационные слухи о гибели советской власти, а также с помощью иностранных разведок проводил подготовку свержения советской власти...

Креститься тогда Плюша так и не надумала. Времени не было, в музее беготня и бумаги, тут еще очередной зуб развалился. Кроме того... Плюша колебалась

между православной церковью и аккуратным кирпичным домиком на Орджоникидзе, где стараниями отца Гржегора обосновалась католическая община. Самого отца Гржегора там уже не было, служил где-то в Южной Азии, вместо него прислали другого, помоложе, и о нем уже были хорошие отзывы. Плюша знала оттуда многих, иногда и сама заглядывала. Ей нравились простая, домашняя атмосфера кирпичного домика, чаепития, которые они устраивали после своих богослужений, и воздушные булочки, которые к ним подавались. Но внутренне Плюша ощущала себя неготовой и ожидала какого-то внутреннего указания. Вроде голоса, который должен был ее натолкнуть на этот шаг. Или чуда, пусть даже очень небольшого и незаметного для посторонних, хотя и против заметного она, конечно, не возражала. Но чуда не было никакого, ни большого, ни маленького. Все шло по неизбежным законам природы.

Натали ее в этих духовных поисках тоже не поддержала: «Что это ты вдруг креститься вздумала?»

От Натали другого и трудно было ожидать: верила только в то, что можно потрогать руками, подкрутить и заставить работать.

Мамуся на мысли Плюши отреагировала тоже своеобразно. Задумалась, а потом сказала: «Можно и покреститься. Хуже от этого не будет».

А лучше?

Мамуся снова задумалась. Она вообще стала молчаливой и рассеянной, мамуся. Подолгу глядела в окно, на поле, поглаживая батарею отопления. Могла полдня разгуливать в одной тапке, не обращая на эту асимметрию никакого внимания. Или халат наизнан-

ку надеть. И тоже как будто так надо. Плюша делала замечания, мамуся послушно отправлялась на поиски парной тапки или переодевала халат по-правильному. А потом опять что-нибудь такое... Болезнь ее усиливалась, но, что это за болезнь, было неизвестно: врачей мамуся обходила, поликлиник боялась. «Травки, травки...» Варила себе их, на кухне становилось душно и горько. Банки с темной жидкостью заполнили стол, потом холодильник, грозя при резком открывании облить холодным и вонючим, не говоря об осколках и луже на полу. Мамуся, бывшая всегда чистюлей, точно не чувствовала беспорядка, который шел от этих банок, а пить из них забывала или не собиралась даже.

Целый день могла неподвижно лежать, и Плюша пугалась ее окаменевшего взгляда и сложенных на животе рук. «Пошевелиться не могла...» И снова включалась в домашние дела, посуду и полы. Протирала подоконники, поднимая поочередно каждый горшок с геранью. Но банки не трогала сама и Плюше запрещала. «Пить буду». Плюша, правда, и не трогала: только тихонько отодвигала...

Кухня заросла банками.

Один раз на кухню попала Натали: принесла, как всегда, что-то вкусненькое. Мамуся как раз лежала в очередной неподвижности.

— Ё... — Натали оглядела стеклянные емкости. — Это что за муйня волшебная?

Понюхала одну. «Бэ-э...» Плюша попыталась объяснить. Не помогло.

— А плесень эта — тоже по народному рецепту? — Натали стала выливать и мыть, пошел запах.

Плюша пыталась отговорить: какой там... Все равно что взлетающий самолет за колеса хватать. Натали только с еще большим остервенением терла губкой стекло.

Неожиданно явилась мамуся. Прямо в ночнушке, с неподвижными глазами. «Ох!» — только и сказала, увидев пустые банки и Натали у раковины. И осела на табуретку.

Натали сама почувствовала, что переборщила с добрыми делами, вытерла руки и ушла к себе.

Мамуся сидела на табуретке, Плюша стояла возле несчастных мокрых банок.

— Последних защитников моих... — сказала мамуся. И стала поглаживать оставшиеся полные банки.

Другой раз Плюша застала мамусю за обследованием половичка, который стелили в подъезд перед дверью. Мамуся сидела в очках и строго его ощупывала. «Так и думала — иголка!» И трясла иголкой.

Стояла ранняя холодная весна, без снега.

«Может, ее того... психиатру показать?» — деловито предлагала Натали.

Плюша мотала головой. От сомнений Плюшина голова делалась горячей и потной.

В ту ночь она встретилась с мамусей возле ванной.

Мамуся белела в темноте ночнушкой, сопела и искала пальто.

— Последнее средство, — говорила мамуся, с усилием застегиваясь, — там земля сильная. А ты иди спи.

Плюша зажгла свет. Мамуся стояла, щурясь, в одном сапоге. Плюша зябко зевнула и спросила, где сильная земля. Хотя уже понимала где. Несмотря на мамусины отговоры и махания руками, пошла с ней.

Мамусю, давно не выходявшую на воздух, шатало, приходилось держать за руку. Плюша предлагала вернуться. Или позвать на подмогу Натали, хотя ночь, но Натали бы поняла... Мамуся категорически мотала головой: «У Натали, у нее тон светлый, но ее темные используют. Она — их оружие». Плюша вспомнила про банки и промолчала.

Мамуся шла медленно, в одном сапоге: второй так и отказалась надевать и припадала на необутую ногу. Пролезали через дыру в заборе, Плюша легко, а мамуся чуть было не застряла. Пришлось проталкивать ее обратно, ждать, когда снимет там, за забором, свою шубу, принимать эту шубу, потом и саму мамусю со стучащими от холода зубами. Помогать ей обратно влезть в шубу, застегивать пуговицы, гладить по синтетическому меху и успокаивать.

Поле было перед ними, покрытое темнотой и туманом, редкие фонари тьму только сгущали. Плюша посветила фонариком. В слабом пятне возникла прошлогодняя трава.

— Не надо пока, — сказала мамуся. Прошли еще немного в темноте, глаз медленно привыкал к ней. Рядом, тяжело поднимая и опуская ноги, шла мамуся.

«Осторожно, — хрипло звучал ее голос. — Гляди, видишь?»

Плюша вертела головой.



— Вон! Ну вон же...

Нет, Плюша ничего не видела: темнота, туман.

Шли дальше.

— А теперь, теперь видишь?

Что Плюша должна была видеть? Ответа снова не было.

Прошли еще дальше.

— Ну да вот же...

Все та же бесцветная мертвая трава. И стебли борщевика чуть видны.

Мамуся тяжело присела на корточки.

— Посвети поближе... — стала рвать траву.

Плюша собралась помогать, мамуся не разрешила:

— Только свети...

Плюша светила; мамуся рвала, дрожала и пускала ртом синеватый пар.

Земля была очищена от травы, мамуся поковыряла в ней совочком. В пакет посыпались комья. Плюша держала фонарик.

Через ту же дыру и с теми же манипуляциями вернулись домой. Светлело, мамуся шумно дрожала; ползла под душ и еще какое-то время издавала в ванной дрожащие звуки.

Плюша, стянув сапоги, думала в коридоре. Пальцы понемногу отогревались. Плюша вздохнула и зашла в ванную. Стараясь не глядеть на круглое мамусино тело, задала волновавший ее вопрос.

Что Плюша должна была там, на поле, увидеть. Что? Световой столб?

Вода тихо шумела, горячий пар лез в лицо. Мамуся молчала. У нее был инсульт.

«Где Бог, там все наполняется смыслом.

Вот, скажем, у древних греков, судя по сказанию о Сизифе, самым страшным наказанием почитался бессмысленный и бесконечный труд. С другой стороны, об одном египетском монахе рассказывали нечто похожее. Что каждый день собирал в любую погоду, и в зной, и в дождь, папирус и складывал его в особую пещерку. А когда пещерка наполнялась, вытаскивал все собранное и сжигал. И снова потом наполнял. На вопрос других монахов и приходивших к нему странников, для чего же он собирает папирус, отвечал, что для того, чтобы не пребывать в праздности. А сжигает, а не продает, чтобы не впасть в сребролюбие.

Если так рассудить, и несчастный Сизиф, и этот достославный монах предпринимали один и тот же труд. Только для первого он был в наказание, а для второго во спасение.

К чему я тут все это пишу?.. Вот, начал и потерял мысль. Пойду еще немного прогуляюсь по полям, может, опять на ум придет.

Прогулялся, подрясник в росе промочил. Ту ли нашел мысль — нет, не знаю. Но вот что подумал, проходя среди высокой, весело поднявшейся травы... Что если верно, что во всем, в чем есть Бог, есть и смысл, то верно и обратное. Что все, что делается без мысли о Боге, не ради Него и без упования на Него, то и смысла лишено.

Какой смысл, например, если посмотреть строго, в том, что мы едим, питаемся? Чем это не сизифов труд? Едва насытившись, едва усвоив пищу, мы снова



голодны, снова ищем утоления. Пища, скажете, нужна нам, чтобы не умереть и продолжать жизнь. Но ведь и жизнь, естественная жизнь сама по себе не есть смысл. Иначе самым осмысленным действием было бы вдыхание и выдыхание воздуха, ведь без этого бы мы не прожили и двух минут.

Если бы жизнь сама по себе имела смысл, то многие не стремились бы добровольно лишиться себя ее, и не одни только отпетые нигилисты и нервические субъекты. Если бы сама по себе имела она смысл, то не стали бы жертвовать ею ради какой-нибудь идеи. А если жизнь не есть смысл, то и то, что мы делаем ради ее поддержания, все эти постоянные и отнимающие наше время действия: питье, еда, сон и проч. — все это та же сизифова бессмыслица.

И для того, значит, мы предваряем всякое действие молитвой, чтобы придать ему смысл. В молитве мы призываем Бога, просим, чтобы то, что мы предполагаем совершить, было наполнено Им, то есть имело некий смысл, превосходящий голую необходимость природы. Для этого мы и молимся перед едой, перед сном, перед всяким делом...

А есть ли молитва перед супружеским соитием? Не думал об этом; похоже, нет. Это, однако, странно: оно, соитие, как раз и требует просветления высшим смыслом, ибо само по себе, если взглянуть незамутненным сентиментальностью взором, есть нечто наиболее бессмысленное и подчиненное тупому инстинкту. Монотонные и лишённые благородства телодвижения, звероподобные возгласы... Да, это дает начало новой жизни; да и то не всегда. Но опять приходим к тому же, что уже установили: жизнь как

таковая не имеет однозначного сопряжения со смыслом. Значит, и продолжение ее, и плотская механика этого продолжения есть все та же сизифовщина. Качение огромного камня на вершину и его внезапный срыв, грохот и падение в бездну. И новое качество...

Удовольствие?.. Да, для многих оно и есть цель и оправдание. И на какое-то время оно способно поменять собой смысл. Но вот — желание удовлетворено. Что испытывается? Пустота. Пустота, пока жажда не разгорится сызнова. Таков и механизм греха: пока он в желании и осуществлении, он сладок и вкусен, а после и горечь, и стыд, и пустота. Это не значит, что всякое удовольствие греховно, но верно обратное, что всякий грех имеет в себе удовольствие. И что всякий грех зарождается и возрастает в отсутствие Божественного смысла.

А я, пожалуй, пойду и доставляю себе еще одно небольшое удовольствие, которое, хотел бы надеяться, этому смыслу не противно. Еще раз пройдусь по моим полям, которые уже успели освободиться от утренней росы. Да и подрясник мой, пока делал эти записи и прихлебывал, согреваясь, из кружки кипятка, успел обсохнуть и сделаться готовым к новым прогулкам.

Люблю я здешние поля... Широкие, свободные, идешь, и себя в них забываешь, и все свои мелкие трудности. И само нынешнее время, хмурое и озлобленное, забываешь. И все эти... Даже не хочу писать что. И умереть бы, наверное, хотел вот так, среди свободного и бескрайнего поля. И чтоб только бедный крест деревянный. А цветов не надо, сами, полевые, вокруг

нарастут. И дерево там же само вырастет... Все это, впрочем, мечтания. Что промыслено, что смыслом просветлено, то пусть и будет. Я готов. Я почти готов...»

Березы, березы... Ели. Снова березы.

Плюшин профиль на фоне слегка замызганного стекла.

Придорожный лесок обрывается. Возникает поле с новым районом вдали.

Плюша медленно жует. Она всегда берет жвачку, когда едет на исповедь: чтобы не было неприличного запаха изо рта. Перед самой церковью, конечно, завернет ее в обертку, может, после церкви еще немного захочется пожевать: обратно ехать тоже час, будет хоть какое-то занятие.

На исповедь, вообще-то, она едет всего второй раз.

Из-под сиденья дует горячий воздух, Плюша подставляет под него то одну ногу, то другую.

Да, крестилась. Так и не дождавшись чуда. После мамусино ухода, через месяц ровно. Такая вдруг пустота после мамуси нахлынула, и Плюша жила и ходила в этой пустоте и заново, через силу знакомилась с окружающим миром. Глядела на стол и думала: вот стол. На окно поглядит: а вот окно. И застывала, глядя на окно, на раму с остатками желтоватой бумаги, которой мамуся проклеивала щели, чтобы не допускать сквозняки. Потом глядела за окно, на небо в пятнах облаков и на поле. Глядела на каждый предмет, как бы снова привыкая к его очертаниям.

Плюша, как и просила мамуся, сожгла ее вещи. На поле, где ж еще, но подальше, чтоб люди не видели. На-

тали помогала, канистру из гаража приволокла. Плюша, не любившая обращаться с огнем, встала в сторонке. Натали сложила горкой мамусины платья, старую шубу, любимые ее тапки. Деловито намяла старые газеты. Дул ветер, вещи горели легко, шевелились в огне старые юбки; дым, как ни отходила от него Плюша, все время лез в лицо. Натали, хмурая и какая-то даже довольная, стояла у огня и поправляла его железной палкой.

Чтоб как-то оттянуть Плюшу от черных и неприятных мыслей, Натали повезла ее развлечься. Посидели в ресторане, Плюша от двух рюмок порозовела. Сходили потанцевали. Плюша танцевала на одном месте, переступая с ноги на ногу, а Натали скакала вокруг нее, как вокруг елочки. Потом потащила ее с собой в новый батутный центр, передела в захваченную с собой одежду, переделась сама и стала заставлять прыгать. Плюша боялась и не хотела. «Прыгай! Прыгай!» — кричала Натали, взлетая и производя в воздухе разные фигуры; Плюша пару раз прыгнула и ушла. Натали еще немного попрыгала, выкрикивая под музыку: «Пьяный-пьяный ежик... влез на провода!» — и повезла Плюшу домой.

Ночью после этого Плюше приснилась голая женщина, идущая по белому полю. Женщина эта была не похожа на мамусю, молодая и тонкая в кости, но Плюша все равно испугалась. Длинные волосы ее и брови были покрыты инеем, женщина неторопливо шла по снегу, и Плюша видела ее как бы со всех сторон.

— Ну и крестись, раз решила, — говорила Натали, которой Плюша почти каждый день докладывала

свои мысли и сны. — На дом тебе, что ль, попа доставить?

Нет, не надо. Она сама съездит. Вот только телефон того батюшки найдет...

Телефон она так и не нашла. Хотя все бумажки пересмотрела.

В воскресенье Натали отвезла ее к той церкви, сама поехала на мойку. Служба заканчивалась, люди шли навстречу Плюше и точно ее не замечали. Только нищие подошли к ней, но она их испугалась и отошла подале. Достала приготовленный платок.

Отца Игоря не было видно. «Перевели на Строителей, — сказала женщина за прилавком. — А что, он вам нужен?» Плюша попыталась объяснить... «Так здесь у нас креститесь, чем в такую даль мотаться... К отцу Мелетию, вон, подойдете или к любому, все объяснят».

Плюша поблагодарила и купила одну свечку.

Те батюшки, которых она заметила, ей не то чтобы не понравились, но не вызвали доверия. Один глядел слишком строго, другой куда-то спешил, а у третьего была маленькая бородавка на носу. Понравился ей только один, высокий и с русой бородкой. Но тот ответил, что он совсем не батюшка, а дьякон. Плюша вышла на улицу, так никуда свечку и не поставив.

Натали ждала ее в помытой машине, внутри было тепло, Натали похлебывала из бумажного стаканчика; протянула Плюше пакетик с фри: «Ну что?»

Плюша подарила Натали свечку, правда, чуть погнутую. Натали сунула ее в бардачок. Выслушала Плюшин рассказ о найденном батюшке.

— Так куда едем? — включила зажигание.

Плюша молчала и дожевывала фри. Осторожно спросила, нет ли у Натали на Строителей случайно своих дел. Потому что, конечно, далеко...

— Ё, — выдохнула Натали. — Лады, едем!

Неудобно...

— На потолке какать. — Натали вырулила на дорогу. — Танцуем!

Отца Игоря застали на месте, хотя уже в дверях.

Через три недели Плюша крестилась. Полины в святцах не оказалось, нарекли Евой.

Прямо после крещения поскользнулась на скользком полу крещальни и ушибла руку. Нет, перелома не было, но болело долго. «Это ничего», — успокаивал отец Игорь своим веселым голосом.

А Натали батюшка не понравился:

— На педика похож.

То же самое, она, впрочем, говорила и про Евграфа, которого видела мельком.

От Евграфа, кстати, не было никаких вестей. Групп со сталкером на поле тоже давно не было видно. Пошел слух, что вроде после расстрела туда зарыли капсулу с сибирской язвой, поэтому власти и не дают разрешения на раскопки.

— В мозгах у них капсулу зарыли... — тихо ругался Геворкян.

В этих разных мыслях Плюша чуть не проехала нужную остановку. «Строителей!» Подскочила, схватила сумку...

— Думал, уже не приедете... — Отец Игорь идет навстречу, веселый. — А, салфеточка... Сами связали? Хорошо, под вазу, где Казанская, подложим...

Спрашивает о Натали, о поле. Плюша чувствует легкий запах вина из батюшкиного рта. Вот он наклоняется к умывальнику, ополаскивает лицо, сбоку стоит ведро с краской.

— А как акция ваша, с домами?

«В этом доме жил Адам Витольдович Ковалевский (1899–1937), инженер-металлург, расстрелян в 1937-м, реабилитирован в 1959-м».

«В этом доме жил Тадеуш Янович Мадей (1910–1937), студент педагогического техникума, расстрелян в 1937-м, реабилитирован в 1958-м».

«В этом доме жил Арон Мовшевич Старобыхский (?—1937), студент текстильного института, расстрелян в 1937-м, реабилитирован в 1958-м».

«На этом месте стоял дом, в котором жил Николай Степанович Войцехович (1900–1937), конструктор 3-й категории, расстрелян в 1937-м, реабилитирован в 1989-м».

Музей заказал семь таких досок, совместно с «Мемориалом», еще зимой. Получили разрешение из Комиссии по культурно-историческому наследию, и от топонимической комиссии, и от собственников. Да, все нужные разрешения были получены. Плюша сама укладывала их в прозрачные файлы.

Сложности начались уже с первой доской, на Буденного, в доме Ковалевского.

На звук электродрели набежали жильцы: «А кто дал разрешение?» Показали разрешение. «А почему ксерокопия? Вы, вообще, из какой организации?», «И что? И теперь что, все кому не лень будут у нас тут

доски эти вешать? А нам тут жить, между прочим!»,  
«Зинка, что с ними говорить, вызывай полицию!»

Попытались объяснить про репрессии. Что человек жил здесь. Так же, как и вы сейчас. Да, вот в этом самом доме. Вставал утром, выходил из него на работу, возвращался вечером, ложился, заводил будильник. Пока в одну ночь за ним не приехали. И человек исчез. Будильник утром звонил вхолостую. Человек исчез. Только за то, что был поляком.

«Вот и хорошо! Вот и пусть ему в Польше где-нибудь и вешают доску. А тут у нас жилой дом» — «Да ладно, пусть висит!» «Как “ладно”, дядь Миш? Если бы какому-нибудь генералу или балерине, то это было бы — ладно... А этот их, какие заслуги имел? Что теперь, всем, кого сажали, доски лепить?» — «А мы тут живем, тут дети ходят...» — «Должны были у нас в первую очередь спросить!»

Нет, не должны были, жильё муниципальное...

Так и не повесили. Музейный слесарь дядя Витя слез со стремянки, сложил ее и развел руками.

А в другом месте их уже ждал пикет жильцов. Откуда-то узнали. Дом был старым, двухэтажным, с деревянным вторым этажом. Лица жильцов были сухие и решительные.

«Его ж дрелью тронь — рассыплется. Мы тут прежде чем простой гвоздь в стену забить, сто раз мозгуем. Давайте езжайте отсюда со своей доской. Вон, к дереву тому, если хотите, можете ее прибить...»

Из семи изготовленных досок повесили в итоге четыре. Где-то, правда, жильцы попались понимающие. Попросили еще к доске маленькую полочку приделать, чтоб цветы возлагать. «Будете возлагать?» — «Будем!»



— А что, оставшиеся три, — спрашивает отец Игорь, щурясь от солнца, — так и не повесили?

Отец Игорь перекрестился, потянул на себя обитую крашеным железом дверь. Плюша вошла следом.

— Лучше б вы перед литургией приехали, причастились бы сразу...

Храм был новым, пустым, батюшкин голос звонко разносился по нему.

Вышел из алтаря старый дьякон, отец Григорий, которого Плюша видела во время того пикета на поле. Ответил на Плюшино приветствие, вышел.

Появился отец Игорь, неся аналой:

— Не, спасибо, нетяжелый... Сам. Вот так. Ну, давайте, Ева. Готовились?

— Грех?

— Гордыня!

— Грех?

— Зависть!

— Грех?

— Гнев!

— Грех?

— Похоть!

Семь смертных грехов выходят на сцену. Тихо гудит вентилятор, но все равно душно, и в зале обмахиваются.

— Грех?

— Уныние...

— Грех?

— Чревоугодие!

Переключка окончена. Луч софита, освещающий дерево, гаснет. Ева все еще сжимает надкусанное яблоко.

Медленно, с закрытыми глазами движется по доскам сцены, подходя то к одному, то к другому греху.

— Итак, — снова слышится голос, — представьтесь еще раз! Да, да, вы...

Гордыня чуть усмехается.

— Гордыня. Проживаю тут недалеко, улица Строителей, дом десять. Да, под другим именем. Да. Неженат. Числюсь охранником в ночном клубе... Достаточно?

Ева подходит к нему сзади, молча обнимает голову, плечи, целует прыщавую шею.

— Расскажите о ваших отношениях с Евой.

— Знаком давно, еще в изостудию ходила. Плодом, через который вошел в нее, была груша, положенная ей в ранец матерью. Первые дни после этого наблюдал. Да. Усвоение нормальное, аллергических реакций не имелось...

— Совсем?

— Кроме легкой сыпи на левой груди. Отношения нормальные. На вид, конечно, тихоня... Но, вы знаете, «в тихом омуте...»

— Не отступайте от заданного вопроса!

— Ну да, лирики вы не любите... Что вас там интересует? Отношения? Бываю у нее где-то раз в неделю, ну, вы знаете, как вызов поступит. Около полпятого утра, зависит от глубины сна. Обычно через кусочек плода, перорально. Сглатывание нормальное. Последнее время, после того как ее тут в вашей водичке купали, возникли проблемы с усвоением, но... пытаемся решать.

Ева, все так же с закрытыми глазами, отходит.

— Теперь вы!

Уньиние полулежит с расстегнутой на груди рубашкой. Смотрит куда-то вверх, в темный потолок.

Ева опускается на колени, запускает руку ему в рубашку.

— Ну... Уньиние. Адрес? Панфиловцев, двенадцать, корпус второй.

— Квартира?

— Сорок три. Вы ж туда все равно не поедете...  
Временно не трудоустроен.

— Отношения с Евой?

— Классные. Нормальные, в общем. Умняшка.  
Старается.

— Сколько раз посещаете ее?

— Почти через день... Раньше даже чаще. Где-то в два, два тридцать. Кормлю ее вот этим, — помахивает пакетиком.

— Вы бы ее еще пауками кормили...

— Ну, — чуть усмехается, — что дают... Вкуса все равно не чувствует. Срыгивать, правда, стала иногда. Приходится по второму разу: открой ро-отик, ути-пуси...

Луч гаснет. Загорается в другом конце сцены.

На скрипучем стуле сидит Похоть, в костюме и галстуке. Нога на ногу, пальцы на колене сплетены. На голове венок из одуванчиков.

— Я? — Чуть щурится от света, облизывает губы. — *Luxuria*.

— Настоящее имя!

— Это настоящее, на латыни... Ну ладушки, Похоть. Поселок дачного типа «Нефтяник», дом три. Да, за Бетонкой. Числюсь в одном благотворительном фонде.

Ева обходит его и медленно садится Похоти на колени. Развязывает галстук, тянется к губам.

Темнота.

Снова освещается дерево — черное, точно обгоревшее. На ветке качается одуванчиковый веночек. Адам и Ева стоят, закрыв лица ладонями. Струя воздуха от вентилятора доходит до Евы и шевелит волосы.

Отец Игорь слушал молча, не перебивая, не спрашивая. Поднял уставшее лицо:

— Всё?

Она еще спросить хотела... Прошлый раз в этом не покаялась, а потом подумала... Что к католикам иногда на Орджоникидзе ходила. Это грех?

— До крещения?

Плюша кивает.

— Тогда каяться не нужно... Только в том, что после последней исповеди совершили.

Слова звучат как-то сухо. Или просто ей кажется так.

— И вообще. Заходить к ним можно. Только не молиться вместе... Всё?

Плюша осторожно опускается на колени и закрывает глаза. Ей темно, коленям жестко и холодно. Где-то наверху, далеко, читает отец Игорь свою молитву.

И приходит легкость. Хотя не такая, как в прошлый раз. Прошлый раз Плюша чуть не взлетела.

Выходят на сцену ангелы. Ходят по ней, грехи поколачивают. Гордыню — по устам. Чревоугодие — по обвисшему пузу. Уныние — под зад. Похоть — понятно куда. Сложилась Похоть пополам, взвизгнула, на полусогнутых со сцены уковыляла. Следом Гордыня, выбитые зубы сплевывая.

Солнце в деревьях блеснит. Садик небольшой; хризантемки, георгин — всё палой листвой дубовой присыпано. Шум детский из окна.

— Отец Игорь! — высунулся из двери, из детских голосов, дьякон.

— Иду! Сейчас, люди у меня... — оборачивается к Плюше. — В воскреску зовет. Да, наша воскресная школа. Не хотели бы по выходным преподавать? Что? Да вот хотя бы ваше рукоделие. Там девочки... Или об искусстве рассказать, какие картины бывают.

Плюша обещает подумать.

— Да, подумайте... А католики... Иду, отец! — повернулся к двери, откуда снова показалась дьяконская голова в очках. — Пусть пока исход из Египта повторяют! Исход, да! Или «Евангелие детства» отца Фомы! ... Что я сейчас говорил?

— Католики...

— Да, слышали, отец Гржегор вернулся? Нет? Вот, вернулся, видел его вчера. Хороший он человек! Я еще когда в соборе работал, то с ним иногда... Опять со своей идеей часовню на поле воздвигнуть. А наши, конечно, на дыбы: нет, только нашу, православную... Там же наш отец Фома. Вот и получается, что воюем. А зачем? Знаете?

Плюша пожимает плечами, от солнечного света щекочет в носу.

— И я не знаю. Много как-то внутренней войны кругом стало. И мы, — потерябил крест на груди, — тоже в нее ввязались, и даже на переднем самом... Прямо и ждем, кто нас обидит. Вот, отец Григорий даже от этого стихи писать стал. — Откашлялся. — «И снова русских обсирают и ненавидят почем зря,

и трясогузки «Пусси Райот» куражатся у алтаря...»  
Хорошие стихи?

Плюша улыбается.

— Даже в журнал их отвез... Не взяли. Ругательно очень, сказали. Я ему говорю: отче, замени «обсирают» на «презирают». И рифму сбережешь, и напечатают, может. Теперь про католиков что-то пишет. «Православные — крестики, католики — нолики...» А ведь добрый человек, собак бездомных тут прикармливает, а откуда только из него это берется? И в соборе, пока я служил, тоже: католики такие-сякие... Ну да, конечно: опресноки, филиокве, верно всё... Только я бы, вот честно, не знаю, что бы отдал, чтоб послушать те разговоры, которые у отца Фомы с ксендзом Косовским были, когда их в одну камеру засунули. Помните, как Косовский о них написал?

Плюша кивает. Что тюремные споры их были наполнены любовью.

— Вот именно, любовью... — Отец Игорь провожает Плюшу до ограды. — А нам снова с Москвы документы на отца Фому вернули. Ну да, с канонизации. Опять не сподобился: «ересь» у него открыли. Что считал и грехи, и смерть какими-то биологическими существами. Вроде живых организмов. Писал разве такое? Я как-то не обращал внимания. Не знаю, правда, что тут догматам противоречит... Он-то ученый был, врач, что-то уж, наверное, об этом понимал... Ну вот, заболтал я опять вас. Что-то сказать хотели?

Да, Плюша хотела сказать. Давно то есть хотела спросить. Что значат слова: «Беру это себе в комнату».

— Беру это... как? К себе в комнату? — Отец Игорь смешно морщит переносицу. — А где такое

слышали? Что? Женщина одна сказала? И когда это надо говорить?

Когда плохо.

— Ерунда это какая-то, суеверие. Когда плохо, молитву читать надо... Ну, что тебе? Вот, гонца уже выслали!

Возле отца Игоря вертится лет семи девчущка. Тянет его за руку, чтобы тот наклонился: что-то на ухо хочет сообщить.

— Да иду уже... — смеется. — Прочли отца Фому? Ну иду...

Прощается с Плюшей, торопливо благословляет.

— Приезжайте, так чтобы к литургии, в следующее воскресенье. И насчет школы нашей тоже...

Плюша радостно идет к остановке, развязывает платок, почесывает заправшую в нем голову. Понравилось ли отцу Игорю ее рукоделие? Наверное, раз к иконе велел положить.

Радость тает и царапается в Плюше, как карамелька.

В следующее воскресенье Плюша сюда не приехала. И в сле-следующее. И в сле-сле-сле. Порывалась, планировала. Но такое вдруг загруженное, занятое время началось, что... Какая уж там церковь.

— Хочешь, научу?

Катажина стояла, обняв сырую от слез Плюшу. Дача Карла Семеновича. Пористая, припорошенная пудрой щека Катажины.

— Слушай... — Катажина отпустила Плюшу и говорила быстро, точно диктуя. — Беда какая-то или неприятность, говори: «Беру это себе в комнату». Запомнила?

Плюша помолчала и спросила, какой в этом смысл.

— Какой смысл? Какой смысл? Никакого... Просто помогает.

Одинокий георгин с церковного двора. Одуванчиковый веночек. Вязаная салфеточка, которая вроде должна была быть перед иконой.

Все это теперь было где-то в той комнате.

Комната пополнялась сама собой и скрипела по ночам распиравшими ее предметами.

Жизнь завертелась. Жизнь вертела Плюшей, и Плюша, точно в воронке над сливным отверстием, вращалась и утекала кругами куда-то вниз.

Началось все с музея, ставшего теперь государственным. Прошли переформление, выползли из-под всех этих бумаг, стали жить по-прежнему, с экскурсиями, архивами, отмечаниями дней рождений. Потом вдруг открылась дверь, и уже не помнит, кто сказал:

— Идемте знакомиться с новым директором.

Плюша удивилась и пошла.

В директорском кабинете сидел Геворкян и глядел куда-то в стол. Остальные сотрудники рассаживались и заносили стулья. Плюше стула не хватило, она прислонилась к большому и холодному шкафу. И заметила за директорским столом женщину, которую вначале не увидела, так она как-то сливалась с кабинетом и столом. Да и теперь заметила только оттого, что женщина глядела на нее, Плюшу, и вроде бы улыбалась.

— Алла Леонидовна, просим любить и жаловать.



Плюша вспомнила. Женщина, у которой они просили деньги на сборник, когда дул ветер.

Алла Леонидовна приподнялась и снова села. Сотрудники заулыбались, Плюша тоже постаралась, чтоб поддержать общее настроение. Геворкян продолжал изучать стол.

Алла Леонидовна была в сером пиджаке, сказала несколько слов. Что-то насчет истории, которую мы не должны забывать. «Понимаете?» Присутствующие закивали. И еще, что она ничего не собирается менять, но теперь будет все по-другому.

Через неделю Геворкяна проводили на пенсию.

Устроили тихую посиделку в кабинете Плюши, ели киевский торт, чокались пластиковыми стаканчиками; заглянула Алла Леонидовна, тоже поела торт и вышла.

Зашел слесарь дядя Витя, не разобрался, в чем дело:

— Ну, с праздничком! — и выпил. Поглядел во-круг.

— А что это вы такие похоронные?..

Ему объяснили. Дядя Витя покачал головой и дальше пил молча.

Проект с досками памяти как-то сам собой остыл и свернулся.

Наступила очередная весна. Небо было в какой-то паутине, часто болела голова. Плюша начала чувствовать ноги: стали побаивать, покручивать, поламы-вать.

— Научу тебя ездить на велике, — говорила Натали, — все боли как рукой снимет. Земля вот только немного подсохнет...

Сама она все больше ездила на велосипеде и считала его панацеей от всех болезней.

Алла Леонидовна проводила еженедельные совещания. Говорила о дисциплине, напоминала, что на работу нужно приходить вовремя, а не так, как некоторые. Плюша слушала, рисовала в блокноте квадратики и заштриховывала их.

Вскоре сложилась в музее маленькая группка, с которой Алла Леонидовна пила у себя по пятницам чай с вареньями, которые варила сама. Говорили, вкусно. Плюша в этот круг не входила. Только один раз, на Восьмое марта, попробовала шарлотку, приготовленную директрисой. Дожевала напоминавший резину бисквит, тяжело проглотила и запила газированной водой.

Получила первый выговор. Да, она опаздывала. Но ведь и уходила позже, и в выходной могла прийти, если надо. «Хочешь, съезжу поговорю с ней?» — Натали постукивала по столу. Плюша быстро мотала головой. Нет. Нет. Не надо.

Иногда она ездила к Геворкяну. Он вдруг как-то постарел, но при Плюше старался держаться. Сам варил себе супы, мерил давление, шутил. Плюша плакалась ему на музейные дела, Геворкян пересаживался на диван и слушал. Иногда поглядывал в тихо работавший телевизор, который завел, выйдя на пенсию.

— А знаете, — сказал как-то, — на меня подали в суд... Да, ваша Леонидовна. Обнаружила какие-то финансовые нарушения, в которых я повинен.

Плюша возвращалась через поле: другую дорогу перекопали, меняли трубы. Дул слабый ветер, качались тяжелые соцветия борщевика.

На следующий день она постучала в директорский кабинет. В файлике было заявление об уходе.

Алла Леонидовна отвлеклась от монитора.

— А, Полина... Станиславовна, — неуверенно прибавила отчество. — Заходите. Да, вот этот стул, поближе... Чем порадуем?

Плюша просидела у нее почти час. Ушла с неподписанным заявлением.

— Поймите, милая моя, отчетность есть отчетность, — говорила Алла Леонидовна, провожая ее до двери. — Рано или поздно эти нарушения... А там очень серьезные нарушения, понимаете? И они бы все равно всплыли. И грантовые средства, и деньги попечителей, там такое... Мы просто решили на опережение, чтобы, главное, отвести удар от музея. Ричарду Георгиевичу все равно ничего не будет, он пенсионер, он у нас заслуженный человек с авторитетом... Поэтому давайте не торопиться, Полина Станиславовна... Или можно я вас просто буду называть Плюшей?

Плюша, уже державшаяся за ручку двери, отпустила ее и подняла брови.

— Ведь вас Карл Семенович так называл? — Директриса продолжала глядеть на нее.

Называл ее Карл Семенович как раз Полиной, но откуда...

— Училась у него... — Алла Леонидовна сняла с Плюшиного плеча что-то. — Ниточка... Нет, на историческом, он же историкам еще читал. Я вас старше, это только выгляжу... Да-да, стараюсь как-то в форме быть, диета, йога, фитнес... Посты держу. Так что разрешите, буду называть вас просто Плюша. А вы меня — просто Аллочка... Хорошо, Аллочка Леонидовна. И будем работать. Год юбилейный, конференция на носу, вы сами понимаете. Будем

не обижаться, не надувать наши милые губки, а работать...

Плюша возвращалась на автобусе; всю дорогу прокручивала разговор. Автобус стоял в заторах. В городе откуда-то возникло море машин, всего за год или два. Плюша пожалела, что не взяла с собой вязание. Сидела и глядела на темное свое отражение в стекле.

Позвонила Натали: «Ну ты где, мать?»

Встретила ее у остановки, на велосипеде, с магазинными пакетами: «Будешь бананыч?» Плюша устало поморщилась. Натали стала ловко чистить его себе. Плюша тяжело шла; рядом, шурша пакетами, медленно катила Натали.

— Ну да, — говорила Натали, — дура она, что ли, такую дуську исполнительную отпускать...

Может, связать ей что-то...

— Тапочки ей белые свяжи... Кто на нее еще так пахать будет за копейки.

Она не на нее пашет. И вообще, ей, Плюше, хватает...

— Это пока я жива, тебе хватает.

Плюша промолчала.

Натали бросила кожуру от банана в урну и соскочила с велосипеда; они подошли к подъезду.

«Иуда рос хорошим, спокойным мальчиком.

Особенно преуспевал он в сложении и вычитании. Играя возле ручья, извлекал из потока разноцветные камушки и складывал их в ряд. Один, второй... Камушки высыхали и делались невзрачными,

маленький Иуда бросал их назад в воду и собирал новые.

По осени то же проделывал он с желудями, сыпавшими со старого дуба неподалеку от их жилища.

Так, складывая камешки и желуды, научился он считать до десяти, а потом и до ста. Больше всего нравилось ему сложение.

Вскоре Иуда стал складывать медные грошики, которые назывались “лептами”. Родители Иуды были людьми достаточными и, приметив интерес мальчика к монеткам, охотно давали ему для игр самые мелкие. Иуда складывал лепты одна к другой, любуясь звездой с восемью лучами, выбитой на них. Он даже научился различать лепты, которые чеканились при разных царях. Вскоре ему подарили целый овол. Мальчик был счастлив.

Однажды, когда он играл во дворе со своим богатством, до него донесся необычный шум с улицы. Быстро сложив всё в мешочек и спрятав в тайник, он выглянул.

Мимо их дома шла толпа детей. Одни были чуть старше Иуды, другие помладше. “Наверное, что-то интересное”, — решил любознательный мальчик и пошел следом за толпой, подпрыгивая и пытаясь разглядеть, что же происходит впереди. Он никогда не видел, чтобы столько детей шло куда-то вместе, и притом совсем без взрослых.

“А куда это все идут?” — спрашивал он. Многие тоже не знали и шли, как и сам Иуда, из любопытства. Другие говорили, что тут всем раздадут теплый хлеб и печеную рыбу. Третьи отвечали, что идут они в какое-то Царство Небесное, но что это за царство и скоро

ли его достигнут, знают точно те, кого они называли “вожаками”. Эти вожаки шли впереди, и главным среди них был какой-то Иисус.

Иуда уже собирался вернуться обратно, к заветным своим монеткам, но тут толпа остановилась и подавалась назад, так что Иуду едва не сбили с ног. Последние оказались вдруг первыми, и рядом с Иудой оказался рыжеватый мальчик почти одних с ним лет. Поэтому, как все остальные дети на него глядели и перешептывались, Иуда смекнул, что это и есть тот самый Иисус.

“Да, ты прав, — улынулся Иисус Иуде, — последние будут первыми. А первые — последними. Ты ведь любишь сложение и вычитание, Иуда? Помнишь правило: от перестановки слагаемых сумма не меняется?”

“А откуда ты узнал, как меня зовут? — Иуда так удивился, что даже забыл о своих монетках. — И что я люблю сложение?”

“По твоему лицу, Иуда... Лицо — это как монетка, и на нем выбито и имя человека, и то, что он любит и что он думает... Нужно только уметь читать эти надписи”.

Иуда снова поразился: этот рыжий знал и о его увлечении!

“А это трудно — читать лица?” — спросил Иуда.

“Очень трудно, пока глядишь на лицо другого только как на средство для своих целей... Как на монетку, которую ведь никто, как ты, внимательно не разглядывает. Просто тратят. А лица? У одних они — как лепта, у других — как овол... А в Царстве Небесном лица у всех будут как самая дорогая монета — золотой талант”.

Услышав это, Иуда воскликнул: “Научи меня читать лица, Иисус! И возьми меня с собой в Царство Небесное!”

И остальные дети, до сих пор стоявшие молча, тоже закричали: “И нас, и нас возьми в Царство Небесное, мы тоже хотим туда!”

Иисус подошел к Иуде поближе. Положил ладонь ему на плечо: “Хорошо. Но для этого ты должен раздать все свои монетки, которые держишь в тайнике, бедным детям. И идти со мной”.

Иуда молчал. Ладонь Иисуса была горячей и словно прожигала его. Раздать все свои замечательные монетки? Все? Которые он так долго собирал, мыл и оттирал песком до блеска? И даже... овал?

Иисус вздохнул и слегка брезгливо, как показалось Иуде, снял ладонь с его плеча. И пошел прочь. Остальные двинулись за ним, обходя застывшего Иуду, точно весь он был измазан какой-то зловонной жижей.

“Стойте!” — выкрикнул Иуда и бросился к себе во двор. Достав из тайника монетки, выбежал на улицу.

Иисус снова оказался рядом. Как будто и не уходил никуда, а стоял здесь и ждал.

“Вот...” — сказал запыхавшийся Иуда и протянул ему драгоценный мешочек.

“Зачем они мне? — Иисус поднял бровь. — Раздай их сам. И идем со мной”, — и снова положил ладонь на плечо Иуды. Но теперь она уже не прожигала, а только ласково грела.

Иуда улыбнулся. Во рту его не хватало двух передних зубов; застеснявшись этого, сделал серьезное лицо. Была, впрочем, еще одна причина, немного смущавшая его...

“Твои родичи и ближние даже не заметят твоего отсутствия, — снова угадал его мысли Иисус. — Так что не бойся. Идем!”

“В Царство Небесное?” — решил на всякий случай уточнить Иуда.

“Сначала — в город детей, Детский Иерусалим. Слышал о таком?”

“Только о взрослом...”

“О взрослом все слышали!” — улыбнулся Иисус и надвинул белую шапочку, в которой был Иуда, ему на нос. Дети засмеялись, засмеялся и Иуда, уже не стесняясь беззубой своей улыбки. И пошел рядом с Иисусом в Детский Иерусалим.

Он быстро познакомился и подружился с другими товарищами Иисуса: Петром, Андреем, Яковом... С ними было весело и легко. А монеты из своего мешочка Иуда, как и обещал, раздал бедным детям, которых они встречали по дороге. Все... Все, кроме одной — того самого овола. Нет, его он тоже собирался отдать какому-нибудь подходящему бедняку. Но пока не встречал среди детей, просивших милостыню, достойного кандидата. И держал этот овол при себе...»

О болезни своей Натали никому докладывать не стала. Зачем всякой хренью людей грузить... Даже Плюше не сказала: пусть ходит пока неинформированная. Да и что толку было сообщать Плюше? Сочувствовать не умела, любила только, чтоб ей кругом сочувствовали и по спинке гладили. Да и не нужно было Натали чье-то дурацкое сочувствие. Без чужих соплей как-нибудь обойдемся.



Согласилась на «химию». Стала выгребать после мытья головы волосы пригоршнями. Постриглась под Агузарову. Плюша, привыкшая к Наталийным фортелям, даже не задумалась. И что одежда стала на Натали болтаться, как на гаисте.

Ну да Натали привыкать, что ли? Всем на нее всегда было плевать с Останкинской телебашни. И матери, и сестре, и брату. И Антону, маньяку ее покойному. А уж Фадюше, как в Польшу свою умотал, так по барабану — есть мать, не есть мать... Позвонит ему сама, поскайпятся, он на все ее вопросы сквозь зубы: нормально... нормально. А как она сама, как у нее, и не задумается спросить. Ну а даже спросит? Что она, станет ему всё свое горестное говно вываливать? Пусть думает, что мать здорова как лошадь. Если вообще что-то о ней думает у себя там.

Только Геворкянч один что-то заметил: поглядывал, поглядывал на нее...

— Что-то ты, Натали-джан, похудела!

— Это я на тайскую диету села, — весело ответила Натали. — А то жопанька уже в двери застревала. — И, чтоб не остаться в долгу, помассировала Геворкяну руку. — И ты, Георгич, тоже какой-то дряблый стал. Раньше вон, весь как мячик был...

— Сдулся мячик, поскакал-поскакал и сдулся, — улыбнулся Геворкян. — Ага, вот тут еще, сильнее... Хорошо, массажик... Большое тебе пролетарское мерси. У меня тоже диета. Моцион. Пару раз уже в суд ходил.

Натали перестала мять ему руку:

— Вызывали все-таки?

— Да нет, просто поговорили. Посоветовали поискать хорошего адвоката. Ничего. Пока еще рано растирать цикуту.

— Чего растирать? — не поняла Натали.

— Цикуту. Яд, который Сократ принял.

— А! — кивнула Натали: про Сократа она в молодости чего-то читала, когда самообразованием увлекалась.

Она в тот день засиделась у Геворкяныча; починила ему утюг, наладила слив в унитазе.

— У порядочного человека всегда есть два выхода, — говорил, стряхивая пепел, Геворкян. — Крест и цикута. Для креста я слишком старый и толстый. Жирный старик на кресте... Нет, как ни верти, остается цикута...

— Все еще обойдется. — Натали положила на плечи Геворкяна свои мокрые руки. Покачала его. «Ты найдешь себя, любимый мой... И мы еще споем!»

По мере повышения говенности жизни ее все больше тянуло на песни.

Возвращаясь от Геворкяныча, припарковалась в каком-то переулке. Постояла, на капот падали березовые сережки, и Натали глядела на них. Если бы у нее получились слезы, она бы, наверное, всхлипывала и терлась распухшей мордой о руль. А так просто сидела, глядела на капот, на панель инструментов, на сережки эти, потом на часы, разжала посеревшие губы и, дав задний ход, стала выезжать на улицу.

— Главное, чтобы костюмчик сидел... — процедила, разгоняясь.

Конференцию к юбилею Победы провели широко, жирно, с размахом. Аллочка Леонидовна постаралась, чтобы и по федеральным каналам сюжетик прошел. Наприглашали историков, даже из-за рубежа, синхронистов из Москвы привезли. И местные все историки были тут, вся, так сказать, королевская рать, активно поглощали пирожки на кофе-брейках и выступали с докладами. Геворкян тоже был приглашен, сидел рядом с Плюшей, больше молчал, сопел и комментировал.

Иностранцев, правда, было немного. Был один немного испуганный участник из Франции, сделал доклад о Втором фронте, высадке в Нормандии. Француз похлопали как гостю, но больше о Втором фронте и союзниках докладов не было, тема была немодной.

Еще на пленарке выступала дама из Польши, копия Аллочки Леонидовны, с чеканным профилем и запахом парфюма, доходившим до третьего ряда, в котором сидели Плюша с Геворкяном. Дама была из какой-то «институции» и говорила правильным бюрократическим русским языком.

— И хочется особо подчеркнуть, — читала она свой доклад, — что поляки никогда не сотрудничали с фашистами...

— Ну да, — хмыкнул Геворкян в ухо Плюше, — даже евреи с ними иногда сотрудничали, а вот поляки — конечно нет!.. Балдею просто.

Плюша рассеянно кивнула. Она набегалась с этой конференцией и чувствовала себя выжатой тряпочкой.

— Но, освободившись от оккупации, Польша оказалась под другой оккупацией... — Дама сделала вы-

разительную паузу. — Еще более долгой... — Снова пауза. — От которой она смогла освободиться только в конце восьмидесятых.

Геворкян снова потянулся к Плюшиному уху:

— Слушайте, меня эта тетенька утомила. Идемте кофейку попьем.

Плюше как представителю секретариата следовало быть в зале, но недреманного ока Аллочки Леонидовны вроде бы заметно не было. Еще раз оглядевшись, Плюша заспешила за Геворкяном. Спешить за ним было несложно: двигался он теперь медленно, морщась и тяжело дыша. В дверях наткнулась на Леонидовну.

— Я в туалет, — сказала Плюша и покраснела, как школьница.

Погода стояла солнечная; участники, проявляя неорганизованность, покидали зал.

После окончания, часов в шесть, был фуршет. Выпили за Победу. Дали слово какому-то ветерану; ветеран говорил долго, вначале его слушали, потом постепенно начали есть и общаться, а он все стоял и произносил.

— А вы знаете, она, как оказалось, совсем не такая дура. — Геворкян поставил свою тарелку рядом с Плюшиной и отер рот. — Я с ней поговорил...

Плюша не сразу поняла, о ком речь. Потом догадалась: польская участница.

— Доклад у нее, конечно, ужасный. Но это... Это уже политика. От политики умные люди всегда немного глупеют... У нее на нашем поле дед расстрелян. Помните: Данилевич, переход границы? Ради него на ваш сабантуй и прикатила... Вот, кстати, и она. Чешь, пани Ядвига!

Пани улыбнулась Плюше. Чокнулись за знакомство: «Наздоровье!» Плюша выпила минеральную воду.

— Я, оказывается, должна уже завтра ехать обратно. — Пани Ядвига поискала глазами, куда поставила бокал. — Так что на это поле поеду сегодня. Даже сейчас.

Сговорились ехать втроем. Плюша все равно уже собиралась домой... За пани прислали машину; она села назад и закурила.

— Он ушел, когда моя мать только родилась... Обещал передавать им деньги. Наверное, много чего пообещал.

Геворкян как крупный мужчина сел впереди.

— Мертвое поле, — объяснял водителю.

Чтобы не стоять в заторах, водитель вез их окружным путем. Договорились, что Плюша вышлет пани Ядвиге все документы, в которых будет встречаться имя Данилевича. Но все уже, в общем, опубликовано. Вряд ли всплывут какие-то новые, но кто знает?

— Кто знает... — повторила пани.

Машина остановилась у самого поля. Светило низкое солнце, земля была неподсохшей.

— Надо было взять еще другую обувь, — сказала пани Ядвига. Она стояла в лакированных босоножках.

— Ступайте там, где старая трава, — советовал сзади Геворкян. — Да, вот так... Вот тут, по нашим расчетам, уже идут захоронения.

Они остановились.

Плюша осторожно перекрестилась. Геворкян присел на бульжник и завязывал шнурок, пани Ядвига оглядывала поле. Позади чернела машина и курил водитель.

Геворкян поднялся:

— Когда их привезли... Тут был овраг, не слишком глубокий. В него и сбрасывали.

— Всех, кого арестовали?

— Почти. Некоторых в лагерь, почти все погибли в лагерях. Ксендза Косовского выпустили перед самой войной, он и успел что-то рассказать одному своему другу. А потом, во время самой войны, пропал. Без вести.

Солнце почти село.

Пани Ядвига подобрала с земли камешек: «Возьму на память». Сделала несколько снимков. Сфотографировала и Плюшин дом.

Плюша сообщила, что она тут живет.

— Весело вам, — усмехнулась пани.

Они направились назад. Пани Ядвига рассказывала, как в детстве они жили возле старого еврейского кладбища. И как играли на могилах...

Подняла правую ногу и поглядела на босоножки:

— Ох, запачкалась...

Плюша из вежливости пригласила к себе на чашку чая. Но пани торопилась: у нее были сегодня еще какие-то деловые встречи. А Геворкяна она завезет домой по дороге. Пани пожала холодную Плюшину руку и села в машину.

Плюша заторопилась домой; не хотелось быть здесь одной в сумерках.

- Мадей!
- Данилевич!
- Старо... Старобыхский... Старобыхский где?  
Живее...
- Чернукович!
- Новак!
- Ковалевский!
- Рипка!
- Петренко!
- Голембовский!
- Все — с вещами!
- Куда везут-то?..
- Там скажут! Ну, живее!..

«И они все ближе и ближе подходили к Детскому Иерусалиму.

На пути встречалось все меньше взрослых и все больше детей. Дети уже откуда-то знали об Иисусе и его друзьях и криками приветствовали его. А рядом с Иисусом, где прежде шел Иуда, теперь шагал длинноносый мальчик по имени Лазарь, которого Иисус на днях воскресил. Все сбегались, чтобы посмотреть на Лазаря, потрогать его. Только Иуда шагал сбоку и поглядывал на Лазаря без восторга.

“Не расстраивайся”, подошел к Иуде Петр.

“Я не расстраиваюсь”, отвернулся Иуда. — Все из-за этого несчастного овола...

“Забудь! Какая разница, кто сейчас идет рядом с ним? Смотри, какое солнце, какие холмы!”

“И солнце дурацкое... и холмы...”

Вздохнув, Петр отошел.

Иуде стало стыдно за то, что он один шел, не радуясь. Он снова посмотрел на холмы, на солнце, на Иисуса. Попытался улыбнуться.

Они остановились у широкого поля. Прозвучал приказ рассаживаться.

“Сейчас он повторит свое обычное чудо с хлебами”, — подумал Иуда, но сел со всеми: с утра он съел только пару маслин. И вообще, когда злишься, почему-то сильнее хочется есть.

К тому же он собирался подглядеть, как у Иисуса получалось накормить пятью хлебами такую огромную толпу. Тут было какое-то нарушение законов сложения и вычитания, и наверняка у Иисуса где-то были спрятаны еще хлеба, которые он незаметно вытаскивает и дает всем. Прошлый раз Иуда глядел во все глаза, но чем-то отвлекся и упустил самое главное.

Закусив губу, стал следить за руками Иисуса...

“Держи! — толкнул его в бок рослый Андрей и сунул кусок лепешки”.

“Да погоди ты...” Иуда машинально взял и откусил. Хлеб был теплым, как только что из печи. Нет, такой нельзя где-то держать в тайнике, чтобы потом...”

“Что, тоже следишь, откуда он его достает?” — усмехнулся Андрей.

Иуда поднял на него глаза.

“Подвинься-ка... — Андрей сел рядом, дожеввал, слизнул крошки с ладони. — Мы тоже сначала следили. Что, думаешь, сразу поверили? Вон, Фома до сих пор все не верит: “А пусть он мне еще раз покажет... А пусть он даст потрогать...””



Андрей ловко передразнил гадаринский выговор Фомы. Иуда улыбнулся и стал доедать свой кусок. Возле Иисуса поставили корзину, складывать остатки хлебов.

Иуда снова повернулся к Андрею, который сидел, обхватив ноги и воткнув подбородок меж коленей.

“А как он все-таки это делает?”

“Не знаю”, — сощурился Андрей. Пальцем он выковыривал застрявшие меж зубов комочки хлеба и отправлял обратно в рот.

“Встаем! — закричали возле Иисуса. — Последний переход!”

Толпа поднялась и зашевелилась, поползла пыль. К Иисусу подвели ослика.

“Это еще зачем?” — спросил Иуда, но Андрея уже не было рядом; он стоял возле Иисуса и стягивал с себя верхнюю рубашку. То же делал Петр. То же делал и Фаддей... Иуда поспешил к ним, на ходу сдергивая свою. А она все никак не сдергивалась...

Спина ослика исчезла под завалом рубашек. Иисус почесал его за ухом, потом ловко закинул ногу и уселся сверху.

“Осанна Иисусу, сыну Давидову! — закричал маленький и щуплый Иоанн. — Благословен Грядый во имя Господне!”

“Осанна... Осанна...” — подхватили остальные и двинулись за Иисусом.

Малышня уже успела нарвать с утра пальмовых ветвей и яростно трясла ими.

Поле опустело».

Болезнь ходила вначале в Плюше на цыпочках, боясь слишком себя обнаруживать. Только вдруг стали находить на Плюшу приступы задумчивости, она точно проваливалась в себя, а окружавшее делалось расплывчатым, как сквозь запотевшее стекло... Проскользнуло лето, дождливый август перетек со всеми своими лужами в сентябрь; менялись числа, а за окном было одно и то же: серое, мокрое.

В конце ноября они съездили с Натали в Смоленск, командировочные, правда, ей так и не дали. Хорошо съездили, развеялись немного. Особенно Натали — даже слишком развеялась. Хотела напоследок жизни налотаться. Но Плюша тогда об этом не знала, может, и держалась бы с ней как-то по-другому, если бы Натали не таилась. Плюша, конечно, видела и таблетки, и испарину, которая у Натали стала выступать. Видела, но с вопросами не лезла. А сама Натали никак эти таблетки не комментировала. Просто брала и пила...

Да, еще новость о суде над Геворкяном, это уже всколыхнуло, это уже серьезный сигнал был. Не просто финансовые нарушения, а уже... Что именно, пока никто не знал. А сам Геворкян молчал. Не брал трубку, не выходил из дома. Да и о суде сообщил не он сам, а местный правозащитный сайт: откуда-то узнали. Плюша с Натали, вернувшись из Смоленска, сразу съездили к Геворкяну. Окна были темными, на звонок никто не отвечал. Подруги постояли во дворе, Натали курила и кашляла. «Главное, чтобы он цыкуну свою там не выпил». Бессмысленно постояв, уехали.

А что было до этого, в начале ноября? Тоже что-то было... Да. Второе ноября. День всех усопших вер-

ных. «Задүшки» по-польски. Неделя выдалась без дождей, поле подсохло, закаты, один ярче другого, горели над ним.

В тот день закат напоминал фруктовый сок: апельсиновый снизу, персиковый чуть выше и вишневый с переходом в темную синеву. В закат въехал автобус и застыл: из него стали выходить, расходиться и собираться люди из «Речи Посполитой», из костела на Орджоникидзе, еще какие-то знакомые и незнакомые лица. Плюша боялась подойти к отцу Гржегору, но он сам подошел к ней и деловито поздоровался. Знал ли он о ее православном крещении? Наверное, уже сказали: на Орджоникидзе были в курсе.

Закат продолжал свои фруктово-ягодные чудеса. Люди выносили из автобуса ветки хвои и раскладывали на земле. Прикатила Натали на велосипеде, привезла хлеб, яблоки, вино.

— Твой тут, — сказала Натали, засовывая в Плюшин карман яблоко. И дернула головой куда-то влево.

Плюша не поняла и поглядела туда.

Возле борщевика стоял Евграф и разговаривал с кем-то по мобильнику.

Плюша задумалась. Натали ушла искать штопор.

Когда Плюша вышла из задумчивости, начали зажигать лампадки. Евграфа уже не было, Плюшины ноги отекали и заоченели. Яблоко, которым ее угостила Натали, было холодным, и вино было холодным. И все было холодным.

Помянули.

По полю горели лампадки, люди прикрывали их от ветра. Потом ветер стих, но Плюше было все равно

зьябко. Она положила руку на локоть Натали и предложила пойти домой.

Фруктовый закат завершился, наступила обычная осенняя темнота; люди, выпив вина, расходились. Автобус развернулся, обдав Плюшу холодным светом фар, и отъехал.

Подруги вошли в дом и поднялись к Натали. Натали отправилась на кухню, Плюша в ванной держала ладони под горячей струей и сопела от наслаждения.

Сквозь шум воды она услышала ругань Натали. Остановила воду, вышла.

— Ё, да что ж такое! — Натали схватила ее за мокрую руку и потащила к окну. — Вот суки...

Вначале Плюша не поняла.

Поле темнело внизу, только... Да, только огоньки не были разбросаны по разным местам, а собраны вместе. В одну удлиненную светящуюся фигуру, напоминающую... кажется, ракету.

— Ракету? — Натали поглядела на нее, дернула головой. — Тьфу!

Слюна повисла на оконном стекле. Натали побежала вниз. Плюша, постояв, пошла за ней. Она уже поняла, что это была за светящаяся фигура. Неужели Евграф?

— Уроды... — сопела рядом Натали, разнося лампадки.

Плюша тоже наклонилась и отнесла одну подальше.

Весь следующий день Натали присидела в своих сетях; вечером пересказывала Плюше. В сетях была выложена фотография и ходили волны возмущения. Нашлись, правда, и те, кто защищал инсталляцию. Но

Натали была уверена, что это те самые, кто ее и устроил. Защищавшие говорили, что смысл не оскорбление чувств, а торжество жизни над смертью.

— Ну и сделали бы тогда символ жизни в виде другого, — говорила Натали. — Сердца какого-нибудь.

И ушла пить таблетки. Плюша слышала, как она шуршит ими на кухне, запивает водой и тихо матерится. Громко ругаться при Плюше она стеснялась.

Плюша снова глядит на фотографию на мониторе. Черное поле, лампадки. Пытается вспомнить Евграфа: его руки, кожу, волосы.

Ручей покуда не замерз, только по краям обметан свежим льдом. Белый пар стелется над ним. А лес уже в снегу.

Поднимая подол, чтобы не набился снегом, идет она к ручью.

Тяжела ее походка, и не только сугробы тому виной. На сносях она. Обрюхатил ее дружок, вот что.

А она-то, глупичка, считала, что только от живого кавалера понести можно, а мертвяки на это дело народ безобидный. Считала, да и просчиталась: на святую Ядвигу пояс тесен сделался, а на Задушки все как день ясно стало.

Тяжело по сугробам к ручью идти. Путь, что летом в одно мгновение пролетала, теперь, как улитка проползает. В сапожонки снег набился, ветви в лицо лезут, ледяной крупой осыпать норовят. И утроба, клятая утроба к земле тянет.

Как только не пыталась плод морить: и ноги в кипяток с визгом опускала, и со стены, что за старым амбаром, прыгала... Да разве убьешь плод, который от

такого кавалера нагулян? Растет в ней не по дням, а по годам. Хорошо еще, грех сказать, что чума всю их улицу выкосила, некому на позор ее любоваться, головами в чепцах и шляпах укоризненно качать да дверь дегтем мазать.

Но и без того тяжко ей. С каждым днем все старше она, все быстрее пожирает ее старость. Еще летом была молодой: кожа молоком, глаза васильками, груди яблочками. А вот уже и расплылась, заморщилась... Молоко створожилось, васильки поблекли, яблочки усохли. А волосы? Как снег побелели.

И от голода-холода мутит. Продала все подарки его, дружка костявого, на снесь выменяла, да кончилось все. Хоть и прям лучше помирай, чем такой позор неси.

Одна надежда...

Она подходит к ручью.

Одна надежда, что не оставит...

Топают, стряхивают налипший снег.

Одна надежда, что не оставит ее дружок; припомнит, как ртом безгубым клялся ей в верности до гроба, а это племя такими клятвами не шутит. Впрочем, и шуток она от него никаких не слыхала: серьезный он, коханек ее, вдумчивый, небыстрый. И в играх их любовных она всегда заводилой была, а он лишь деликатно соответствовал.

А может, зря она пришла? Сколько уже таких дней приходила. И в листопад, и в первый снежок. Раньше, бывало, придет к ручью — он тут как тут, как сердцем чувствовал, или что у него там, под камзолом истлевшим. А теперь... Глядит старуха в черный ручей, пальцем по воде водит.

Заскрипел снег под копытами, заржал неподалеку конь. Запах знакомый раздался, сладковатый.

— Что пришла?

Подняла она голову, остатками зубов ему улыbnулась:

— К тебе пришла, тебя, сокол, повидать!

Думала, спрыгнет к ней сейчас с седла, за руку возьмет.

Не спрыгнул... Не взял!

Глядит на нее сверху глазницами темными, пустыми, и конь на нее глядит, щерится.

— Уходи! — вот и весь сказ.

Заплакала она, затряслась. Слезы по морщинистым щекам потекли, в ручей каплями застучали. Кап... Кап... А конь все копытом снег роет, глазом косится мутным на нее.

— Дите будет у нас, — слезы отерла. — Ты бы позаботился о нем...

Вздохнул всадник, достал кошель, вытряхнул из него несколько золотых.

— Держи! — и в сугроб швырнул.

А она-то ничего, не гордая, полезла за ними, стала, как собака, снег рыть. Добыла золотые из-под снега, пересчитала и за пазуху сунула.

— Ну? Всё?.. — нахмурился всадник, в плащ запахнулся. — Что смотришь? Прощай!

— Стой! Поцелуй хоть на прощание... Как весной меня целовал, когда ланиты мои цвели, как маки, и на улице нашей что ни день, то похороны шли... Ласковым был ты тогда.

И коня за узду схватила, губами обметанными к дружку своему тянется.

— Отойди... — попытался было отпихнуть ее ногой... Да только не смог. С силой, какую сама в себе не ожидала, вцепилась она в него и с седла сдернула.

Ружнул всадник на снег, только кости лязгнули.

А она уже сверху насела, только охота целовать прошла, давай колотить его и камзол на нем рвать. Замахнулся было на нее, да куда ж ему костяшками своими с ней, живую, справиться! Ртище свой гнилой распахнул и хрипит только. А она давай за руку его тянуть, какой тискал он ее, охальник, да и дернула с силой. Полетела в сугроб оторванная рука, пальцы растопырила, снег сжала, замерла. А следом уже и другая летит! А она все не унимается, губу закусила. Сейчас, сейчас обиду свою выместит...

Стон мужской по опушке разнесся; осыпалась серебристым снегом береза; замер с поджатой передней лапкой заяц-беляк.

Проскакал конь вороной, глаза выпучив, и исчез в снегах.

Туман от ручья гуще пошел. Потемнела вода, запенилась.

...В глухую февральскую ночь разрешилась от бремени некая девица, чудом до тех пор остававшаяся в живых на Замковой улице. Девицей, впрочем, она уже и не выглядела, а скорее старницей. Напуганная повитуха побежала за ксендзом. Едва разрешившись, роженица испустила дух. Но более всего напугало повитуху и явившегося старичка-ксендза новорожденное дитя. Описывать его облик нет резона, ибо даже неполное описание его может вселить в сердца ужас и тоску. Достаточно сказать, что дитя было похоже на все смертные грехи разом и искусало и повитуху



ху, и ксендза, и лишь сотворенное крестное знамение остановило бесчинство страшного дитяти.

Через пару дней, по совету двух ученых братьев-доминиканцев, умершую и плод ее греха поместили в специально устроенную зеркальную комнату; прочитав молитвы, обложили осиновыми дровами и сожгли. С тех пор чумовое поветрие пошло на спад, лишь местами задержавшись, вскоре же утихло совсем.

Весной начались неприятности.

Накапливались они исподволь, еще зимой. Но все казалось: обойдется.

Аллочка Леонидовна заменила почти всех сотрудников. Даже тех, с кем прежде по пятницам чай с шарлоткой пила; кто-то ушел сам, не дожидаясь намеков. Из «старичков» осталась одна только Плюша. От документов, связанных с поляками и репрессиями, ее отодвинули, разбирала теперь архивы эмигрантов, которые передали в дар музею их потомки. Плюша читала о сложной и несытой жизни бывших уроженцев их города в Варшаве, Берлине, Париже... И думала почему-то про Лувр, про памятники архитектуры и искусства. Ведь если тяжело, можно пойти, постоять у картин... Сама Плюша, правда, уже давно ни на какие выставки не ходила.

Вместо «старичков» Леонидовна набрала молодежь.

До тех пор с молодежью Плюша непосредственно не сталкивалась. Первые же контакты повергли в замешательство и опускание рук. Это были инопланетяне. Гуманные, отчасти даже отзывчивые. Похожие на обычных людей. Тоже ели, пили, ходили в музей-

ный туалет. Пару раз резались при ней случайно бумагой, и на пальчиках выступала кровь. Но в остальном...

Когда Плюша что-то говорила им по работе, они глядели на нее светлыми глазами и повторяли через одинаковые промежутки: «Ага... Ага...» Или «О'кей... О'кей...» Плюше даже казалось, что они глядят куда-то сквозь нее, на обклеенную белыми пузырчатými обоями стену. Она замолкала, не договорив нужной фразы. А они и не чувствовали недоговоренности. «Ага...» — и за дела свои. По смартфонам снова пальцами водят. Слышали ее? Поняли?

Но это было еще не самое... Ну да, странные. Смартфоны. Наушнички в ушах. Пальцами крутилку какую-то крутят. Об интимных вещах говорят спокойно: «У меня критические дни», прямо как о насморке. Это еще можно понять: целое поколение под рекламу прокладок выросло. Или примут позу роденковского «Мыслителя»: «Не знаю, что с этой перхотью делать...» И на это Плюша хмыкнет, но поймет: телевизор. Но откуда у этих инопланетян взялась такая нежная любовь к советскому прошлому, при нем-то они не жили даже?

— Тоже телик, — говорила Натали, которой Плюша по вечерам жаловалась. — Ты вот не смотришь, а там сейчас сплошной эсэсэсэр...

Вначале Плюше казалось, что молоденькие просто подыгрывают директрисе. Аллочка Леонидовна на собраниях любила поговорить о великом прошлом. «И российской истории можно поставить только «пятерку»!» — заканчивала такие выступления.

«Спасибо, Россия; садись», — хмыкнул как-то с места кто-то из старых сотрудников, пока они еще были. А молодежь слушала ее серьезно; красавица Вика, сидевшая в одной комнате с Плюшей, ритмично кивала.

Одним влиянием Аллочки Леонидовны и ее собрания объяснить все было нельзя. Тут было еще что-то для Плюшиной головы непонятное.

Как-то, еще в декабре было дело, она открыла дверь в соседний кабинет. Вроде как случайно, хотя уже уловила голоса за дверью и бульканье напитков. Нет, не надеялась, что позовут к столу, просто... В общем, открыла. Открыла и поздоровалась. Сделала вид, что ищет кого-то.

Из-за стола на нее поглядели, переглянулись и предложили присоединиться. Леонидовны не было, одни молодые. Вика, еще человека четыре. На столе раскисал большой разрезанный торт.

Плюша внутренне улыбнулась, но на всякий случай поинтересовалась: что отмечаем?

— День рождения Сталина!

Плюша остановилась. Поглядела растерянно на стену. На стене висел календарь: 21 декабря.

Плюша сказала что-то тихо про музей, в котором они работают, что это музей репрессий, музей жертв, и... Вышла, закрыла дверь, прислонилась к стене.

В феврале в музее появился новый сотрудник, на этот раз пожилой. Даже слишком, лет шестьдесят. Седые волосы ежиком, холодный внимательный взгляд. Молча приходил на работу, молча сидел за столом, молча курил у стеклянной двери.

Аллочка Леонидовна представила его на собрании, когда прилетела из Штатов, где была в какой-то

делегации. Рассказала, на каком уровне ее принимали, как устала от перелетов, как заидеологизированы американские историки... Под конец собрания сообщила, что наш дружный коллектив пополнился... Поднялся новенький. Назвала его по имени-отчеству; обычно сотрудников называла только по именам. «Будет у нас работать консультантом...» Поднявшийся встал навтыжку. «Человек с богатой биографией. Уникальным жизненным опытом... Прошу любить и жаловать!» Все почему-то захолопали. «На зоне работал, в охране. Сам мне вчера сказал», — услышала Плюша рядом Викин шепот. Плюша перестала хлопать, сжала ладони. «Шоколадку подарил. Полковник», — вздохнула Вика. Собрание закончилось, сотрудники расходились. В Плюшиной голове целый день вертелась песенка про «настоящего полковника».

Через месяц, правда, он ушел. В какую-то бизнес-структуру, как поговаривали в музее.

«Ах, како-ой был мужчина... Настоящий полковник!»

В начале марта ее пригласила к себе Аллочка Леонидовна. Устало подвигала компьютерной мышью, подперла подбородок.

— Что делать будем?

Плюша неопределенно улыбнулась.

Директриса еще пощелкала мышью, принтер ожил. Брезгливо, кончиками пальцев взяла выползший из него листок и протянула Плюше.

— Читайте.

Плюша поднесла поближе к лицу и стала читать.

Это был перевод статьи с какого-то польского сайта. Речь шла об их поле. О том, в каком оно запущенном состоянии (фотография). О том, что, вместо увековечивания памяти жертв, там проводят порнографические перформансы (фотография). Что местные власти не разрешают производить раскопки. Что запрещает местной католической общине строить там часовню, потому что на эту территорию претендует русская церковь. Что у автора там был расстрелян дед (черно-белая фотография)... Тут Плюша поняла: писала та самая польская участница.

В конце статьи выражалась благодарность. Плюша увидела имена пана Гржегора, еще двух людей из польской общины, потом Геворкяна... Замыкала список пани Полина Круковска.

Директриса глядела на нее, сжав губы в ниточку.

— Что скажем?

Плюша пробормотала что-то в том смысле, что написанное, если так посмотреть... Не по частностям, а в целом... В общем-то, правда.

Директриса сухо хохотнула.

— Правда? Это была бы правда, если бы это написали мы. Взвешенно. Конструктивно... А поскольку это написали не мы, а они, это не правда. Это пропаганда.

Прошлась по кабинету, поскрипывая сапогами. Резко остановилась.

— Чем вы сейчас занимаетесь?

Плюша ответила, что разбирает архивы эмиграции...

— «Эмиграции»? Вы были на нашем последнем собрании?

Плюша кивнула.

— Я же объясняла... Не было никакой «эмиграции». Не. Бы. Ло. Было расширение Русского мира. Понимаете? Распространение русской цивилизации, русских общин по всему миру.

Директриса говорила медленно, как говорят с детьми или умственно отсталыми. Плюша глядела в стол.

— И то, что некоторые называли эмиграцией, было лишь этапом этого цивилизационного процесса. Процесса, начало которому положили Владимир Красное Солнышко и Петр Великий. Заложили его духовную матрицу... Да, драматичным этапом, но история всегда драматична. И эти люди, которые уезжали, они распространяли русскую культуру по всему миру, они сберегали многое, что иначе могло случайно погибнуть. В этом была их нациодивизиональная миссия. Сами они могли о своем отъезде думать и писать все что угодно, это уже субъективный фактор. Но миссия их была именно в этом: в развертывании матрицы. Понимаете?

Плюша тяжело вздохнула.

— И изучать и публиковать их документы нужно именно с этой позиции. Конструктивной!.. Да что же вы все молчите! — Директриса швырнула на стол бумаги.

Плюша ссутулилась.

— Вы даже не представляете, как вы меня подставили... — Леонидовна запрокинула голову и с силой пригладила волосы. — Далось вам всем это проклятое

поле. Хоть бы взорвали его, что ли... Идите. Идите, говорю! — и уронила голову на бумаги.

Плюша встала и вышла из кабинета. Ноги были ватными, пальцы сами собой искали в сумочке валерьянку.

— Хочешь, — говорила вечером Натали, — съезжу, этой козе рога обломаю?

Плюша мотала головой. И прижималась лбом к горячему плечу Натали.

Через неделю был еще один разговор с директрисой. Плюша написала заявление по собственному желанию. Леонидовна молча подписала. Плюша вышла от нее, вернулась к своему столу, стала ледяными руками собирать вещи. Желуди и каштаны, которые раскладывала перед собой, вязаную накидку на кресло. По экрану задремавшего компьютера плавал логотип... Сзади подошла Вика.

— Вы ведь не из-за нас уходите?.. Мы тогда так... Ну, в общем, это мы пошутили.

Плюша не понимала и глядела на Вику, держа в руках накидку.

— Ну тогда. Помните? Это мой день рождения был, просто поприкалывались, что Сталина.

Плюша оставила Вике на память вязаную салфеточку, на которой стоял стаканчик с ручками и карандашами.

Вещи ей молча помог донести до дороги слесарь дядя Витя.

На парковке ждала Натали, деловито протирая машину. Положили сумку с вещами в багажник, связку книг на заднее сиденье. Рядом с книгами села Плюша.

— Ну, со свободой! — сказала Натали. Плюша сжалась, обхватила голову руками и просидела так до самого дома. Натали вначале оборачивалась, потом перестала, задумавшись о чем-то своем.

— ...Сердце устало, и плоть холодеет. Стиснуты зубы и сомкнуты веки.

Дверь была открыта, и она вошла в темноту. Голос доносился из комнаты, тоже неосвещенной.

— В мире еще — но уже не для мира. Кто он? Он призрак. Он призрак...

Плюша ощупала стену и не нашла выключатель. К ногам упало что-то мягкое, видимо, куртка. Плюша перешагнула через нее и осторожно позвала Ричарда Георгиевича.

Комната замолчала.

Плюша сделала еще несколько шагов в темноте. Спросила разрешения зажечь свет.

— Не нужно, — ответил голос Геворкяна. — Мне тяжело видеть свет. Рядом с вами кресло. Садитесь.

Плюша нащупала мягкую обивку и опустилась.

— Вы знаете платоновский миф о пещере?

Плюша не знала. Она немного привыкла к мраку и видела темное тело на диване.

— Хорошо... — Тело пошевелилось. — Иногда лучше не знать. Простите, ничем вас не угощаю. Почти ничего не ем.

Плюша забеспокоилась, собралась идти в магазин за продуктами...

— Не надо. Да успокойтесь, я не объявлял голодовки... Садитесь.



Плюша снова села. Они помолчали. Окна были завешены плотной тканью.

— Отец Фома, он в тюрьме отказывался от еды. Уже готовил себя...

Это Плюша знала. Брал только сухари и воду, а потом и от них отказался.

— Знаете, а ведь я, можно сказать, за него пострадал. Сказал в той последней передаче... Да, которая в октябре. Про этих трех... Что Россию погубили три сифилитика: Иван Грозный, Петр Первый и Владимир Ленин.

Тело на диване пошевелилось.

— Как они все обиделись! Монархисты за Грозного, западники за Петра, коммунисты за Ленина... Патриоты — за всех троих. А ведь это были не мои слова, а отца Фомы, которого они все так любят. Любят, а читать не любят. Из его дневника... Помните?

Плюша помнила.

— Он же бывший врач-венеролог. У него была диссертация по сифилису. Он это дело понимал... Но я, откровенно говоря, рад.

Плюше показалось, что она видит в темноте улыбку Геворкяна.

— Всю жизнь думал, что людям нужна правда. Правда о том, как все было. Пусть не всем. Не всем, но некоторым, некоторым-то она нужна была, а? Теперь и этих некоторых нет. Если правду некому сообщить, она теряет смысл... Хорошо, я думал, это не нужно здесь. Но, может, это нужно полякам? Они ведь всегда были свободнее, даже при Союзе. Почему я польский тогда и выгучил. Книги читал их, прессу. Ну вот и сейчас. Сейчас стал читать их прессу...

Прикрыла лицо ладонью. Плюша машинально сделала то же самое.

— Конечно, — голос стал звучать глуше, — по одной прессе нельзя судить... Но у них, похоже, происходит то же самое. То же, что и у нас. Только с чуть более вежливым европейским акцентом. А так... Как будто снова Товяньский вернулся, «Ково sprawy Божей». Великая Польша, от моря и до моря... «Марши независимости»... Что Германия и Россия мечтают о новом разделе Польши... Сплотимся под знамена патриотизма!

Тяжело закашлялася.

Плюша сидела и слушала звуки кашля.

— Эти расстрелянные поляки никому не нужны. Лучше оставить, как будто ничего не было. Залить поле бетоном, все поле залить бетоном, а? Хорошо? Построить на нем еще один торговый комплекс. Нет, лучше еще один храм с позолоченными пластмассовыми куполами. А, как думаете? Согласны? А еще лучше и торговый комплекс, и храм... Соединить их галереями... Платная парковка... А? Как вам?!

Плюша поджала под себя заledenевшие ноги и неожиданно заплакала. Она сама не знала, отчего сейчас плачет и чего именно ей так жалко. Слезы шли недолго, она вытерла их рукавом. На диване молчали.

— Ну вот, обидел вас. Наговорил глупостей.

Плюша помотала головой.

— Отец Фома меня бы сейчас не одобрил... Даже отругал бы, это он умел. Раздернул бы все шторы, согнал бы меня с дивана... Что молчите?

Плюша поднялась и подошла к окну, взяла за край шторы и осторожно потянула на себя.

И остановилась. Стекла оказались заклеены листами газетной бумаги. В слабо проникавшем сквозь них свете она успела заметить буквы — польские, русские...

— Я уже принял все меры. Я должен тихо и незаметно уйти...

Плюша собралась было говорить, он остановил ее жестом.

— Я пригласил ее. Нет, не жену... Жена вообще ни при чем, отдыхает где-то. Я пригласил... Да, ее. Год уже, как вернулась из Штатов. И снова испытывает финансовые трудности. Так что откликнулась, и теперь она займется мной... Посуду вымыла, холодильник разморозила. Как «кто»?.. Наша дорогая общая знакомая.

Потом они прощались. Плюша обещала приехать еще.

— Не надо, со мной все будет хорошо.

Выходя из геворкяновского двора, обернулась на звук. Неподалеку встала машина, из нее вылезла Катажина с какими-то свертками, помолодевшая и пополневшая.

Плюша спряталась за куст сирени и молча смотрела. Катажина деловито вошла в подъезд.

Вечером Плюша рассказала все Натали — уставшей, вернувшейся с каких-то своих переговоров.

— Ё! — закричала Натали и собралась тут же ехать к Геворкяну.

Но вдруг как-то замолкла, отерла испарину.

— Ладно, — выдохнула. — Завтра так завтра...

Съездили только через три дня. Дверь оказалась открытой: в квартире шел ремонт, с окон с хрустом отдирались газеты. Имя Геворкяна работяги не знали,

называли новых хозяев. Квартира, как узнала Натали, была продана по доверенности. Дальше следы терялись.

— Может, в розыск подать? — говорила Натали, включая зажигание. — Человек же все-таки был уважаемый, не иголка...

Плюша соглашалась. Стояли теплые дни, последние дни перед их ссорой.

Ссора была глупой и внезапной. До этого не ссорились. Никогда.

Видимо, сказались нервы: много чего скопилось. И дни еще такие стояли, душные и липкие. Солнце висело в белесой мгле. Неблагоприятные дни.

Натали вдруг взбрело в голову научить Плюшу ездить на велосипеде.

— Ты себя сразу по-другому чувствовать будешь. — Натали спускала велосипед по ступенькам, следом шла Плюша. — И попу сбросишь, и вообще...

Плюша напомнила, что у нее больные ноги.

— И для ног это полезно, — не унималась Натали. — Знаешь, сколько с потом всякого говна из тебя выйдет?

Натали бухнула велосипед на асфальт, и они пошли в сторону поля. По дороге Натали продолжала свою агитацию. Плюша слабо отбивалась, потом замолчала и уныло глядела на вращавшиеся спицы. На свои ноги в новых спортивных штанах, которые натянула на нее перед выходом Натали. Солнце пекло в затылок.

Натали останавливалась, переводила дыхание. У нее стала заметна одышка, она вытирала пот. Сно-

ва шла дальше, говорила и размахивала свободной, не занятой качением велосипеда рукой.

Перед полем темнел квадрат асфальта и стояли две-три машины.

— Залезаем!

Плюша неловко перекинула ногу и влезла на жесткое сиденье. Сразу почувствовала себя толстой и неуверенной.

— Эту ножку сюда... — Натали хватала ногу и тыкала ступней в педаль. — Да не ссы, красуля, держу я!

Велосипед накренился, у Плюши заколотилось сердце, пошло мерцание перед глазами...

— Да куда ты сползаешь, — шумел в ушах голос Натали, — на педаль, в педаль упираться!

Плюша пыталась слезть, Натали не давала и тянула велосипед вперед.

— Педалями крути, ну, ну!..

Велосипед проехал пару метров и рухнул на траву вместе с Плюшей и Натали.

Плюша не ушиблась, поднялась и быстро пошла домой. Сзади что-то кричала Натали.

Натали нагнала ее на велосипеде и встала на пути:

— Пробуем еще раз!

Плюша помотала головой, обошла и двинулась дальше.

Тут они и поругались.

— Не, я просто тащусь, — кричала Натали, — велосипедик ее напугал! Да ты у меня... Да я если захочу, ты меня не знаешь, что ты у меня... Что? Да, и с парашюта прыгнешь, и на вертолете летать будешь! Прожила всю жизнь в своей говенной скорлупе!

пе... Что ты вообще видела, что пробовала? Так в этой скорлупе и подохнешь!

Плюша тоже что-то наговорила, накипело...

— Я? — Натали трясло. — Да я этими руками сына подняла! Я бабло зарабатывала! Я мужика своего, сволоча, когда он загибался и койку грыз, этими руками на себе таскала!

И все в таких выражениях, с прибавлениями мата и лязганья велосипеда, на котором Натали продолжала ехать, то отставая от Плюши, то перегоняя ее.

Возле самого дома обе замолчали, поднялись в гробовом молчании по лестнице и исчезли: каждая в своей квартире.

Плюша, закрыв дверь, стала сдирать с себя новые штаны, запуталась и повалилась лицом в зимнюю одежду, висевшую на вешалке. Так, с полуснятыми штанами, и застыла.

А у Натали загремела музыка. Так что даже у Плюши, через два этажа, слышно стало: «Кайфуем! Сегодня мы с тобой кайфуем! А я опять тебя целую!..»

Натали сидела, голая и хмурая, среди вываленной на пол одежды. Что-то поднимала, прищуривалась, бросала на пол. Выбрала, наконец. Сходила на кухню, наглоталась таблеток, запила. Так долго она никогда не одевалась.

Черная нелепая кофта с вышивкой, подаренная уже не помнит кем. Сама себе такую под дулом не то что пистолета — зенитного орудия не купила бы. Носят, интересно, сейчас такие? Ладно, фиг с ним!.. Юбка. Вообще непонятно, откуда забралась в ее гардероб. Тоже черная, с какими-то фиگнями, до коленок. Чуть

присела, попробовала натянуть пониже. Ладно, камрады, как есть. Хотели женственности? Жрите.

Долго мазалась у зеркала. Всю эту дрянь достала, тени, помаду засохшую, пришлось спичкой ковырять. Из пудреницы целый ураган розовой пыли подняла, аж чихнула, вот ведь блин. Тени навела, бровки подергала, ресницы надрочила. Подмигнула себе в зеркале подмазанным глазом, поискала духи. Не, этого у нее уж точно не было... Натянула колготки, ногой повертела. Вывалила еще полшкафа, разыскала старые, еще заводских ее времен, лаковые лодочки, которые по записи ей тогда достались как дефицит. Попыхтела, влезла-таки.

Еще раз проверила себя в зеркале, сплюнула и заковыляла в лодочках в коридор.

— Как, блин, ходят они в этом...

Медленно спускалась в подъезде. Сопела, тюкала каблуками. Проходя мимо Плюшиной двери, пощекотала дерматиновую обивку.

Никого из соседа встречать не хотелось, но не получилось... Вылезли откуда-то.

— Ой, какая вы красивая сегодня!

— Как атомная война... — процедила Натали.

Машина, стоявшая возле детской площадки, хрюкнула и завелась. Натали подковыляла к ней, погладила пыльный капот:

— Дуся ты моя засранная... — почти упала на сиденье, слотнув кислую слюну.

Врубила на макс «Черный бумер». Газанула, пронеслась мимо испуганных соседок.

Вначале съездила на кладбище. Доползла еле-еле на этих каблучищах до Антошкиной и Гришки мелкого

могил. Поработала в ограде, очистила от листьев, помыла. Осталась довольна. Даже сигаретку одну себе позволила, хотя врачи бы ей сейчас за такие фантазии голову оторвали... Ладно, идут они и пляшут. Похлопала ладонью памятник, пожелала Антону спать спокойно: позабочусь... «Слышь, маньяк? Позабочусь, говорю». Загасила сигаретку, заметила, что зацепку на колготки посадила. Снова подтянула юбку. Дошла вперевалочку до здешнего их «офиса», поговорила с людьми. Договор уже по телефону был, выложила из сумочки заготовленное:

— Пересчитайте!

— Да что же мы, не верим, что ли? — обещали, что всегда чистенько будет, со свежими цветочками.

Пока ползала по могилам, машину уже помыли. Не так, как на мойке, но ничего, для последнего визита сгодится. Натали снова газанула по полной, хотелось ветерка напоследок. И музона, чтобы уши отваливались и кишки прыгали.

Припарковалась у Музея репрессий.

Еще раз проверила морду в зеркале, вылезла, натянула пониже юбку и, стараясь двигаться легко и весело, зашагала к входу.

Знакомый вахтер пропустил ее, хотя и покосился на Наталийкин прикид. «Плевать», — думала Натали, идя по коридору. Где она тут сидит?

Слово «Директор» было отпечатано большими буквами, не пропустишь. Натали поправила неудобную кофту, потопталась, разминая ноги, и постучала.

— Здравствуйте, — удивленно ответила женщина за темным лакированным столом.



Не дожидаясь приглашения, Натали уселась напротив. Поиграла губами.

Женщина занервничала и спросила, по какому Натали вопросу. Натали слегка задумалась:

— Я, вообще-то, здесь волонтером работала.

— Мы сейчас не нуждаемся в волонтерах, — быстро сказала директриса.

— Да я не об этом, Клава...

— Вы... куда пришли? Меня зовут Алла Леонидовна.

— Да знаю, — перебила Натали и придвинулась поближе. — Знаю тебя, манюня. Давно с тобой поговорить хотела. Еще когда ты Геворкяна... Тихо!

Алла Леонидовна попробовала подняться, Натали легким толчком вернула ее в кресло.

— Это насилие, — побелела директриса. — Вы, вы ответите...

— Отвечу. И ты, красава моя, ответишь. Знаешь, что Геворкян в записке своей написал?

Чуть приподнявшись, перехватила руку Аллы Леонидовны, потянувшуюся к телефону, и завела за спину.

— Да успокойся ты. Разговор есть.

— Я сейчас закричу...

— Кричи. Ну?.. Валяй, раз душа просит. Что, кричалка сломалась?

Алла Леонидовна сидела со сжатыми губами, потирая руку.

— Короче, бери свой блокнот. — Натали облизала восковые губы. — Не, вот этот, с золотыми буквами. И записывай. Крупно, чтоб я видела.

Алла Леонидовна взяла ручку и с тоской поглядела на Натали.

— Пиши: «Срочно получить...» Что там пишешь? Хорошо. «...Получить разрешение на раскопки...» Ё, крупнее, говорю! Написала «раскопки»? «На поле по адресу...»

Директриса остановилась:

— Это не от меня зависит.

Натали привстала, Алла Леонидовна вжалась в кресло.

— От тебя, солнце мое. От тебя. Стала б я к тебе приезжать, если б твои ходы-выходы не знала. И начнешь этим заниматься, слышишь, прямо сегодня...

Заметив, что директриса набрала воздуха, чтобы закричать, быстро ткнула ей в грудь ладонью. Алла Леонидовна повалилась на стол и закашлялась. Натали нахмурилась, вытерла выступивший сквозь пудру пот. Подтянула кофту.

— Короче... Времени у меня мало, зая моя. Очень мало времени. Диагноз у меня, онко. Поняла? Так что терять мне нечего. Вообще нечего. А будешь дурить, с собой туда заберу, запомнила?

Директриса, все еще кашляя, кивнула.

— И через свои каналы проверю, пробиваешь ты там это или... На, воды попей.

Пить Алла Леонидовна молча отказалась, кашель прошел; сидела, тихая и маленькая, в своем кресле и глядела на Натали. Натали резко отодвинула стул:

— Ладно, пойду я... А дышалочку укреплять надо, ни к черту у тебя дышалочка. В бассейн ходить, на

велосипеде... Ну пока. Не обижайся, цыпа. Дай поцелую!

Притянув к себе директрисину голову, сочно приложила к бледной и шершавой коже. Хмыкнула, довольная видом оставленного следа. И вышла, тяжело покачиваясь на каблуках.

— Ну, я поехала, — сделала ладонью в дверях. — Пока-пока!

— День добрый, пани Эва.

— Добрый... пан Адам.

— Что с вами, добрая пани? Лицо ваше бледно, как снег, насыпавший за ночь у нашей пещеры!

— Мне... Не знаю, добрый мой пан, как это сказать.

— Не холодно ли вам? Пойду подброшу в костер еще хвороста...

— Не трудитесь, добрый супруг мой. Это все, верно, гость.

— Гость? Разве здесь побывал гость? Я не приметил никаких следов у пещеры.

— Да, он явился, когда вы трудились, очищая дорожку от снега, а я ткала для вас новый плащ... Помните ли вы змея, принесшего нам плод? Это был...

— Он?!

— Спокойнее, пан мой и супруг... Оставьте свой костяной нож. Пан змей уже уполз.

— Боже мой! Что ему здесь надо было?

— Он очень постарел... Каким пестрым и веселым он был там, в райских куцах. Каким ласковым...

— Что ему было нужно?!

— Прошу вас, спокойнее. Мне и так тяжело дышать. И ноги... Ноги точно лед. Вот тут, потрогайте. Чувствуете? Нет, вот здесь. Да... Стойте, куда вы?!

— Я призову детей. Сиф, он знает целебные травы. Помните, как он исцелил мне рану после той охоты на кабана? Енох, внучок наш, он погладит, помнет вам ноги и согреет их. Цила, Цилечка, жена нашего Ламеха, своими шутками и песнями прогонит вашу меланхолию. А я все-таки подброшу веток в огонь... Мне и самому с утра что-то зябко.

— Стойте, умоляю вас. Не оставляйте меня. Мне и так недолго осталось... Как он сказал. Подойдите лучше ко мне поближе. Вот так. «Если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? что я изнемогаю от любви».

— Вы улыбаетесь, милая моя пани... Вам легче?

— Нет, просто никак не привыкну к прикосновению вашей жесткой бороды... Она ведь не росла у вас тогда, в Эдеме? Я уже и не помню.

— Не росла. И в Эдеме я никогда не прикасался к вам... Не целовал ваши руки, не ласкал груди, подобные паре ягнят, пасущихся между лилиями. Нам было там и так хорошо, сладчайшая моя пани... Так что он вам сказал?

— Что меня скоро не будет.

— Для этого он приходил?

— Он принес плод. Не такой красивый, как тот... Хотя я тот уже и не помню. Сказал, что это плод возвращения в райские кущи. «Он ввел меня в дом пира...»

— И вы поверили!

— Нет. Не поверила. Я догадывалась, что за плод он принес. Но ведь рано или поздно это должно было произойти...

— Нет!

— Кожа моя стала дряблой, глаза ввалились и слезятся, грудь отвисла... А эти боли в ногах!

— Нет, Боже, нет!

— А он обещал, что все будет безболезненно... Вот уже и до колен холод дошел. И эти, эти страшные, они подходят со всех сторон. Грехи. Неужели вы не видите их? Они шепчут...

— Нет, вы не должны были, супруга моя, радость моя...

— Поцелуйте меня, любезный пан...

Свет гаснет.

— Дети! Внуки! Сиф! Енос! Бегом, живее! Где этот идиот Каин? Что? Пусть тоже придет, я сказал, только бегом! Скажите: ничего не знаю!.. Все сюда! Боже, дети, какое горе! Ваша матушка... Ой, какое горе, Боже, Боже мой!

Лето выдалось холодным, темным и мокрым. От дождей поле раскисло; раскисло и Плюша. Подхватила после той ссоры инфекцию и проболела месяц.

Она лежала под сырым одеялом и ждала, что Натали одумается, спустится к ней, вызовет врача и напоит чаем. Натали не спускалась. Вместо этого иногда глухо гремела какая-нибудь идиотская песня. Плюша представляла, как Натали скачет под нее по своей квартире, и до боли сжимала губы. Иногда тихо звала ее.

Явился один раз Евграф. Плюше было так плохо, что она его впустила. Евграф плюхнулся в кресло и задумался.

— Болеешь?

Плюша несколько раз кашлянула.

Он поглядел на нее хмуро.

— Воды дать?

Пошел, набрал из-под крана ледяной воды. Плюша помотала головой.

— А какую ты пьешь?

Кипяченую...

— Там не было кипяченой, — сказал Евграф.

Снова ушел, порывлся в коридоре, вернулся с гитарой. Плюша вздохнула и приготовилась терпеливо слушать. «Вот и еще одна мечта сбывается», — грустно думала она. Он играет для нее, для нее одной. Спел «Ивана Навина». Потом еще одну.

— Заболел в пути... Снится: выжженным полем без конца кружу.

Проигрыш.

— Все кружу без конца... Знаешь, чьи слова?

Плюша помотала головой.

Лил дождь, Евграф отложил гитару и рассказывал, что увлекается теперь марксизмом. Весной он прочел «Немецкую идеологию». Всю. Но говорить о марксизме ему не с кем: никто не умеет слушать.

Плюша глядела на этого некрасивого и несвежего мужчину, с поредевшими волосами и горьким запахом изо рта и думала. Пыталась вспомнить хоть одну светлую с ним страничку. И не получалось — ноль. Карл Семенович, Геворкян, отец Игорь, даже Макс, мужчины, с которыми у нее не было ничего, кроме слов, вспоминались хорошо, без усилий, жадно. А этот... Что тут можно было так любить? Глаза? Руки? Обычные глаза, обычные руки, да еще и ногти нестриженные.

Евграф говорил о собственности на средства производства. Плюша нервничала. Вдруг он сейчас, с этими ногтями, ползет к ней? А на ней ночнушка старая, с дыркой сбоку. И вообще... В одну реку второй раз входить уже не так интересно.

Евграф взял деньги на лекарства, записал названия и ушел в аптеку.

Больше он не возвращался.

Наверное, она выздоравливала. Ей хотелось поболеть еще немного, но чтобы кто-нибудь пришел и принес ей яблок. Пусть хоть Евграф. Она была даже готова постричь ему ногти и слушать под монотонный стук дождя про собственность на средства производства.

Особенно тоскливо было выздоравливать по вечерам. Стучал дождь, на кухне капала вода, в бывшей мамусиной комнате, на которой тогда еще не было замка, шуршали вещи. Что-то тихонько падало, скрипело и издавало тихие и непонятные звуки, от которых хотелось скрыться под какое-нибудь звуконепроницаемое одеяло.

А еще хотелось есть. Плюша успела доесть все продукты и растворить все пакетные супы, остававшиеся еще от мамуси. При мысли, что надо будет одеться и идти в супермаркет, колотилось сердце и усиливался кашель.

Пару раз она уже собиралась звонить Натали, плакать в трубку и слушать ее неловкие извинения. Но оба раза сверху начинала бухать музыка. Пляшет... Назло ей пляшет.

Один раз услышала сквозь это «бум-бум» сирену «Скорой помощи». Почему-то подумалось, что к ней,

Плюше. Приподняла занавесочку: машина стояла внизу. Шаги и голоса сгустились возле ее двери и стихли, переместились куда-то наверх.

Песня замолкла: видно, сделали ей замечание. Людям плохо, а вы тут... «Скорая» уехала.

На следующее утро Плюша снова собралась звонить Натали, но вместо этого набрала отца Игоря.

Говорили долго. Вначале она только всхлипывала, а он мягко ее отчитывал. Что исчезла, что давно не исповедовалась. Потом ее прорвало. Поведала ему о своем увольнении. О бесчувственной молодежи. О Геворкяне в темной комнате...

«О Ричарде Георгиче знаю», — медленно произнес отец Игорь. Но что именно знал, не сообщил.

О жалобах на молодежь сказал: «Она такая, какую мы вырастили. Хотите другой — воспитывайте, с самого детства». Плюша напомнила, что у нее не может быть детей, да и возраст уже... «А вы на воспитание возьмите. Вон в детдомах сколько подброшенных, мы там иногда бываем... У вас и жилплощадь позволяет, и время свободное теперь есть!»

Плюша испугалась. Потом задумалась. Думала весь остаток дня, грызя корку черного хлеба, которую отыскала в буфете. Дождь прекратился. Затихла и мамусина комната.

О ссоре своей с Натали отцу Игорю в тот раз не сообщила. И так продержала его у трубки вон сколько. На исповеди скажет, наверное.

На следующий день, укрепленная этим разговором, Плюша решила выйти в большой мир. Сколько можно ждать, что Натали соблаговолит спуститься... Да и день выдался без дождя. Плюша поплескалась в ван-



не, смыв с себя последние ощущения болезни, обсохла, оделась и вышла в подъезд.

Стала было по привычке подниматься наверх, к Натали, но опомнилась и пошла вниз. В супермаркете купила хлеб, кефир, два пакетных супа, три яблока и упаковку белорусского сыра. И пакет шоколадных пряников, побаловать себя после болезни.

— Давно вас не было, — сказала знакомая кассирша, выкладывая все из корзинки. — Как там ваша подружка?

Плюша, потупившись, сказала, что нормально.

— Лучше уже ей?

Плюша на всякий случай кивнула, сложила покупки в пакет и вышла на воздух.

Вернулась домой, поднялась на верхний этаж, к Натали. Позвонила.

Дверь молчала.

Плюша спустилась к себе, разделась и стала выкладывать продукты. Мысли все были не о продуктах, а о Натали.

Натали привезли в тот же день.

Плюша услышала движение в подъезде, поглядела в окно. Не выдержала, накинула поверх халата куртку и поднялась.

Наталийкина квартира была открыта, по ней ходили какие-то люди. Родственники, как поняла потом, и соседка напротив. Толстая медсестра пилила ампулу.

То, что осталось от Натали, лежало в комнате. Высохшая голова на подушке; тонкая, точно не ее, рука поверх одеяла. Ей сделали укол, она спала.

На этой стадии ничего уже сделать было нельзя. Родственникам позвонили увезти ее домой. Женщина, напоминая кустодиевскую купчиху, ее сестра, приехала за ней.

Весь этот последний месяц Натали боролась с болезнью. С той самой ссоры или даже раньше. Когда терпеть не оставалось сил, врубала музыку: заглушить стоны. В тот день, когда приезжала «Скорая», соседка напротив, не выдержав грохота, стала звонить и стучать... Она же и эту «Скорую» вызвала.

Плюша вышла из комнаты, наткнулась на какие-то свертки и сумки. Окна были открыты, по квартире гулял холод. Плюша чего-то испугалась и начала шептать, шепот перешел в крик. Она кричала:

— Уберите Катажину! Не пускайте Катажину!

Плюшу подхватили и увели.

Под вечер Натали ненадолго очнулась. Говорить почти не могла, больше глядела вокруг и подавала знаки.

Плюша подошла к кровати и поговорила с ней. Предложила позвать отца Игоря.

Натали помотала головой.

Плюша помолчала и вопросительно назвала имя отца Гржегора.

Натали снова помотала. Сделала слабый жест рукой, приглашая Плюшу наклониться к ней.

Плюша нагнулась.

Почувствовала горькое дыхание Натали на щеке.

— Танцуем...

«Дети плясали, прыгали и кувыркались. Весь Иерусалим Детский плясал и прыгал. Приплясывали маслины, кружились в облачном небе птицы, и даже

сами облака, казалось, покачивались в легком иудейском танце.

Приближалась Пасха.

Что есть Пасха? Это Исход. А что есть Исход? Это бегство из Египта. А что есть Египет? Этого точно никто не знал. Праздники устанавливают взрослые, но больше всего им радуются дети.

“Египет есть место пленения”, — сказал Петр, глядя вниз.

“В Египте моего дедушку заставляли изготавливать кирпичи”, — сказал Андрей, глядя вниз.

“Твоего дедушки тогда еще на свете не было,” — возразил Фома, глядя вниз.

Андрей пожал худыми плечами и тоже поглядел вниз.

Внизу, под горой, плясал и радовался Иерусалим.

Нестерпимо блистал позолотой Храм, еще недостроенный, но уже поражающий красотой. Возле Храма копошились дети-паломники. Вел за собой толпу путешественников-язычников юркий служитель Храма, что-то рассказывал им.

“А где брат Иуда?” спросил Петр и поглядел на Андрея.

Андрей снова пожал плечами:

“Где-то раздаст милостыню...”

“Какая это раздача”, — вздохнул Фома. — Душу из них всю вытащит, пока одну несчастную лепту даст.

“Ага... А вы откуда? А почему не работаете? А надо работать!”

Апостолы улыбнулись: Андрей точно передал манеру Иуды.

Петр снова стал серьезным, поднялся, слегка отряхнувшись от белой иерусалимской пыли. Налил немного воды из кувшина в ладонь, смочил лицо, волосы.

“Ладно, братья. Делу время — потехе час”. — Петр старался говорить как взрослый. — Идемте тот дом искать, где Пасху справлять будем.

Апостолы стали подниматься, оправлять одежду; кто-то вытряхивал остатки воды из кувшина, чтобы тоже смочить горячее лицо.

“Благословлю Господа на всякое время...” — затянул высоким голосом Иоанн, апостолы подхватывали и спускались вниз, поднимая пыль.

...Иуда в это время был у Взрослых.

Взрослые сидели на каменных скамейках и молча разглядывали его. Они были священниками Храма; детям в Храме служить было нельзя. Они жили в Детском Иерусалиме при Храме и ходили в него, как на службу.

То, о чем учил Иисус Назарей, было им не по душе. Они наблюдали за ним и не одобряли его поведения. “Мессия так не должен себя вести”, — говорили одни. “Когда мы сделали ему замечание, чтобы он прекратил этот шум и крики “Осанна!”, он нас не послушал”, — говорили другие. “А эта хулиганская выходка, когда он изгнал бедных торговцев из Храма?” — напоминали третьи.

Не выдержав, они срывались со скамей и пускались в пляс — это был танец обиды и недовольства. Они продолжали пожимать в танце плечами и вертеть руками, и от взмахов их длинных рукавов вздрагивало пламя светильников.

Иуда стоял и с напряженной улыбкой глядел на этот танец.

Тридцать сребреников, новеньких и гладких, нежно грели ладони.

Танцующие фигуры застыли.

“Итак. — Первосвященник положил ладонь на его плечо. — Сегодня. Сегодня ночью, чтобы не привлекать слишком много внимания. Мы не сделаем ему ничего плохого. Он ведь волшебник, как ты говоришь”...

Иуда этого не говорил, но быстро кивнул.

“Ну вот, мы и дадим ему возможность совершить еще одно чудо. Освободить себя”.

Иуда сжал сребреники и снова кивнул.

“Молодец, сообразительный”, — глухо сказал кто-то.

“Вырастет, храмовым священником станет”.

“Первосвященником! Хочешь быть первосвященником, мальчик?”

Иуда снова кивнул и слотнул слюну.

Потом он долго шел по Иерусалиму среди танцующих и прыгающих детей. Обычно он любил участвовать в общих танцах и развлечениях. Поскакать на одной ножке, покружиться волчком... На этот раз охоты не было. Все с той же бледной улыбкой он обходил пляшущих и шел дальше, гордо придерживая кошель со своим первым в жизни взрослым заработком...»

— Так что смотрите сами, — говорил отец Игорь. — Смотрите сами.

Плюша кивала.

Поминки уже заканчивались, люди вставали и перемещались к гардеробу. Сентябрь был холодным, все были в куртках, с зонтами.

Народу было много. Натали все предусмотрела: сама составила список с телефонами, написала, где конверт с деньгами на сорок дней и в каком кафе. И какие ее любимые песни ставить.

Песни ставили, но желавших поплясать под них не было. Выскочила было какая-то тетка из Наталийкиных подруг по техникуму, стала что-то бедрами выделять... Оглядевшись и обнаружив себя в единственном числе, вернулась на место. За столом потом громко рассказывала, как они в техникуме свести Натали с каким-нибудь парнем хотели.

Под конец поставили «Ой, мороз, мороз...» Плюша с отцом Игорем стояли недалеко от гардероба.

Отец Игорь тоже был в списках Натали: познакомившись с ним, это было еще весной, она перестала звать его за глаза «педиком», а стала почему-то называть «хиппи». Звать «батюшкой» упорно не хотела: вероятно, из вредности.

Мимо, с кем-то из «Речки», прошел отец Гржегор.

— Не здороваешься теперь со мной, — проводил его взглядом отец Игорь. — А раньше, бывало...

Плюша снова вернулась к волновавшей ее теме.

Темой этой было завещание Натали. Подробное, на нескольких страницах, юридически заверенное.

Натали завещала кремировать свое тело. А пепел развеять над полем.

Да, тем самым. С вертолета.

На это тоже были выделены средства. Ровно сколько требовалось: все заранее, видно, узнала.

И сделать это, по завещанию, должна была Плюша. Да, именно Плюша. Подняться на вертолете и развеять Натали над полем.

Плюша сжимала ледяные кулачки. Нет. Она не сможет.

Но... Но это было условием получения довольно крупной суммы, которую Натали ей завещала. И которую в случае невыполнения Плюша не получала.

Плюша вспоминала, как в той их ссоре Натали кричала про вертолет. Что если захочет, то Плюша будет и на вертолете летать, и с парашютом прыгать. К счастью, про парашют в завещании ничего не было. И одного вертолета вполне хватало.

Про сумму Плюша отцу Игорю не стала говорить.

— Благословить вас на это не могу, — говорил отец Игорь. — Но на вашем месте, наверное, сделал бы... Если вы ее любите.

Это же, наверное, не по-христиански... Кремация и потом чтобы пепел вот так, над полем развеивать.

— Не по-христиански, — согласился отец Игорь. — А что делать? Вразумить ее вы уже не можете. Только молиться за ее душу. Молитесь?

Плюша неуверенно кивнула.

— А по-христиански... Главное — любовь. Помните, как у апостола Павла? «Никогда не перестает». И когда «пророчества прекратятся... и знания упразднятся». Вот как у нас сейчас. Только любовь и остается.

Тяжелый, весь в каких-то мелких клепках бок вертолета. Длинные тени от лопастей на земле. И воняет бензином, или как это у них называется.

Плюша приехала вместе с юристом; юрист должен был удостовериться. Он же вручил ей урну, пластмассовую, очень легкую. Плюша прижала ее к себе и зачем-то спросила, всё ли здесь.

Ночь накануне Плюша не спала, бегала в туалет, согревалась под душем; квартира провоняла корвалолом.

— Да вы не волнуйтесь, — сказал юрист. — Вертолет хороший. Покойная сама вам его выбирала.

Плюша спросила, полетит ли он тоже.

— Да рад бы... Два места там всего. Будете с пилотом рядом сидеть. Обзор шикарный.

Ей подставили маленький железный трап.

Пилот уже был на месте. Небольшой мужчина с красноватым лицом.

Плюша сдавленно поздоровалась. И стала глядеть на свои ноги и зажатую между ними урну. Оглядела кабину, перекрестилась и снова уткнулась взглядом в колени.

— Первый раз на вертолете? — обернулся к ней летчик. — Меня, если что, Мишей звать.

Плюша кивнула и осторожно назвала свое имя.

Пилот Миша положил ей на колени наушники, объяснил, как пользоваться. Плюша натянула их на голову, ушам стало тяжело и холодно.

Юрист сфотографировал ее в кабине, помахал ладонью и отошел.

Лопастки зашевелились. Дрогнули стрелки на приборах. Плюша сжала ногами урну.

Спросила, будет ли их качать. Пилот помотал головой. Плюша ожидала долгой подготовки к взлету, как в детстве, когда несколько раз летала на самолетах. Но



вдруг что-то снизу резко приподняло ее, и она зажмурилась глазами.

Медленно разлепив веки, увидела пустоту, обступившую ее со всех сторон. Пустоту и облака. Всё вокруг гремело и дрожало; гремело всё и внутри Плюши. Она погладила урну: вот мы и летим, родная... И снова закрыла глаза. С закрытыми было еще страшнее. Казалось, она постоянно куда-то падает.

Выбралось откуда-то солнце и проползло по лицу. Плюша чихнула.

— Будьте здоровы, — услышала в наушниках.

Земля проплывала под ними. Резко блеснула, снова заставив на секунду зажмуриться, река. Плюша глядявалась, пытаясь угадать, какое место они пролетают.

Вспомнила, как Натали в хорошую минуту, выгнув по-кошачьи спину, пела: «Мама, я летчика люблю!.. Мама, я за летчика пойду!.. Летчик высоко летает, много денег получает... ой, мама, я за летчика пойду...»

Плюша услышала хмык в наушниках. Пилот улыбался. Кажется, она нечаянно что-то спела. Как неудобно...

— Подлетаем.

Да, узнала. Их микрорайон. А вот и пятиэтажечка их. И поле, поле все ближе. Приблизившись, остановилось.

Вертолет качнуло, кресло ушло вниз, Плюша снова вся сжалась.

Поле двинулось, обошло их сбоку, чуть наклонилось и вздрагивало.

Ветер мешал машине зависнуть. У Плюши стучали

зубы, она с силой сжала их, больно прикусив при этом язык. Сиденье под Плюшей то проваливалось куда-то, то подхватывало ее и несло вверх.

— Давайте урну...

Плюша помотала головой. Нет, она сама. Она должна это сделать сама!

Стала пытаться открыть урну, мешали перчатки, сняла перчатку, уронила одну... Пилот наклонился приоткрыть окно. Плюша приготовилась.

Плюша летела над полем.

Руки и ноги ее были растопырены, как ей рассказывала Натали. Сама Натали была где-то рядом, но Плюша ее не видела. Вертолетик остался наверху, пустая урна улетела вниз. Было нестрашно, только холодно лицу и той ладони, которая без перчатки. Много холодного воздуха. И пустоты.

— Кольцо! — скомандовал голос Натали.

Плюша послушно дернула.

— Сильнее!

Да, сильнее. Сильнее...

Ее подбросило наверх. Стала болтать ногами, готовясь к встрече с поверхностью.

Приземлилась возле зарослей борщевика. Быстро выбралась, с трудом освободилась от парашюта.

Натали нигде не было. Ах да... Натали теперь была везде. Во всем и на всем. Болела нога: кажется, подвернула.

Плюша подковыляла к асфальту. На асфальте трудились дети: ползали по нему на корточках, чертили разноцветными мелками. Плюша остановилась, стала наблюдать.

Дети не обращали на нее внимания, молча проводили линии и раскрашивали. Где-то она уже видела этих детей, где? Рисунки были похожи на какие-то схемы.

— Проще чекач<sup>1</sup>, пани, мы сейчас закончим...

Дети еще немного повозились с рисунками, потом стали подниматься, вытирая об себя разноцветные ладони.

— Можете заходить... Витамэ<sup>2</sup>.

Плюша спросила, что это.

— Это наш дом на Буденного, — сказал мальчик, стоявший поближе к Плюше. — Вот это моя комнатка. Вот стол, топчан, на котором я спал в ту ночь. Вот полка для книг, пани не туда смотрит. Я хотел нарисовать книги, но они не очень получились.

Мальчик показывал все это на рисунке. Плюша кивала.

— ...Это коридор, а это комната Петрова с фурнитурного завода. Я покрасил ее тут синим цветом, там были синие обои, очень старые. А в моей были серые, но я нарисовал их здесь желтыми. А это коридор, куда Петров вышел, когда меня забирали, он стоял вот здесь... но это неважно. А еще я нарисовал в своей комнате на столе чашку, чтобы каждый мог зайти и выпить воды или чая... Вы зайдете?

Плюша пообещала зайти позже. Кто-то уже тянул ее за рукав.

— Это наша комната в общежитии, это наши кровати, вот, вот и вот, — один мальчик, совсем русый, стоял, второй что-то дорисовывал на земле. — Вы не

---

<sup>1</sup> Подождите, пожалуйста.

<sup>2</sup> Милости просим!

думайте, у нас было чисто, это мы следили. И очень весело. Особенно на праздники, все общежитие у нас тут сидело. На кроватях вот, еще стулья приносили, мы их не нарисовали, потому что негде, но их обязательно приносили. А это керосиновая лампа и дверь в коридор. А это, если хотите знать, окно на улицу. Сейчас Арон нарисует дверь, и вы сможете зайти... А я Тадеуш, вы меня помните? Все, готово... Витамэ, пани, витамэ!

Плюша обошла еще несколько рисунков, везде ее приглашали войти. Кто-то показывал ей не последнее свое жилье, а избу в деревне под Несвижем: вокруг было все раскрашено зеленым и нарисованы ромашки, «а вот тут у нас был коровник...» Плюша все выглядывала комнату отца Фомы, но пока не находила.

Вспомнила о парашюте, который ей, наверное, предстояло вернуть; извинившись, пошла за ним. Парашюта нигде не было. Когда она вернулась, не было и детей; какие-то люди в защитной одежде и масках поливали асфальт из шлангов, смывая рисунки. Поднимался неприятный пар, к Плюшиным ногам текла разноцветная пена. Вдохнув пар, Плюша закашлялась. Кашляла она долго и больно, пока не пришла в себя.

Отец Игорь, которому она рассказала этот сон, или что это было, промолчал.

Он стал немного рассеянным, отец Игорь. Вскоре собрался и вместе со своей матушкой и младшей дочкой вообще уехал: перевелся в другую епархию, как это у них называется. Куда, толком не сообщил.

Обещал дать о себе знать, как только устроится. Двое старших сыновей оставались в городе: доучивались в институтах. Шарф, связанный на прощание, она вручила ему уже на вокзале, у самого поезда, и конвертик с денежкой. Благодарил.

Как она жила потом? Никак не жила. Что-то делала, куда-то ходила, больше сидела дома и гуляла по комнатам.

Первые время после того полета с урной Плюша и правда немного взбодрилась. Покрасила волосы, чтобы седина не так в глаза лезла. Купила новое пальто, отпорочила готовые пуговицы и пришила те, которые удовлетворяли ее вкусу.

Но главное, съездила на неделю в Белоруссию, первую свою за границу. Даже сама от себя не ожидала такой решительности.

В Минске служил теперь отец Игорь. Да, возник батюшка в Минске, и, чувствовалось, ой как скучал. По прежнему приходу, по городу, по всему. У них было несколько долгих телефонных разговоров с Плюшей. «Приезжайте, Ева... Новым воздухом подышите».

Плюша вначале отказывалась, думая, что нужно делать загранпаспорт. Даже ночь одну не спала, представляя, как пойдет его делать и как на нее посмотрят. Оказалось, не нужно, можно с этим, темно-красненьким. Матушка отца Игоря заказала ей по интернету билеты на поезд. Плюша начала волноваться, что купе будет с мужчинами, и готовилась не спать на всякий случай. Но мужчин не было, всю дорогу попадались одни женщины: мать с дочкой и какая-то молчаливая студентка со смартфоном.

Но, главное, Плюша стала слышать в себе иногда голос Натали, особенно в важные минуты. Не так прямо — слышать, но ощущать. Представлять как будто. И когда ехать — не ехать решала и насчет паспорта боялась. И когда вещи складывала, две огромные сумки получилось. И когда на вокзале запуталась, на какой путь идти. «Не ссы, красава, — представила знакомый хриплый голос. — Вот табло над твоей головушкой, там все тебе человеческими буквами написано...»

В Белоруссии было теплее, чем у них, и всё в туманах, дымках.

Отца Игоря она нашла в новых хлопотах и с печалью в светлых глазах. Мяс пальцы, покусывал поседевшие усы.

— По городу погуляйте... Красивый город... — говорил быстро и не очень уверенно. Дочка его уже ходила в школу.

По Минску Плюша прогулялась один раз. Хотела выпить кофе где-нибудь, но так и не решилась. Пососала вместо этого кофейную карамельку, которую брала в поезд. Бросила монетку в реку, потом засомневалась: надо ли было.

Еще были долгие беседы с отцом Игорем. Говорил, что нельзя погреть себя в четырех стенах. Что-то нужно делать... «Возьмите ребенка на воспитание». Плюша молчала.

— Правильно твой хиппи говорит, — одобрила внутренняя Натали.

Отец Игорь пытался издать «Евангелие детства». Поговорили и о канонизации отца Фомы.

— Наверное, не канонизируют при нашей жизни. «Неудобный» святой.

Погостив в Минске три дня, она поехала в Жировичский монастырь. Туда ходили маршрутки, но отец Игорь договорился со знакомым водителем.

Это были те самые места, откуда были многие из ее подопечных, ее поляков. Тогда еще это территория Польши была.

Водитель согласился проехать через несколько деревень. Развлекал в пути Плюшу разговорами.

— Вон кукуруза... Гниет уже! Невыгодно собирать, невыгодно технику выводить. Так и сгниет.

Плюша сочувственно кивала.

— Дорога... Называется — «дорога»! Едешь, вон сколько едешь, ни одного кафе. На Украине бы уже через каждые сто метров разные кафе... А у нас бизнес они, называется, поддерживают!

Плюша глядела на длинные пустые поля с озерцами, отражавшими небо. Небо было серое, где-то чуть посветлее. Они свернули на узкую дорогу.

— Сами прогуляетесь? Я пока тогда заправлюсь...

Плюша осторожно вышла.

Несколько домиков стояло перед ней, все было чисто и спокойно. Плюша поглядела на домики, и ноги сами повели ее, но не к деревне, а к лесу. Плюша вошла в лес и огляделась.

Проехало за спиной в тишине еще несколько машин — Плюша вздрогнула. Она осторожно шла по сосновым иглам.

Да, вот... Часть ручья была заключена в темную трубу, и сам лес наполовину расчищен. Но по двум-трем старым деревьям и по изгибу ручья она узнала это место. Постелив на пень полиэтиленовый пакет, присела.

Ручей тек — все тот же, и все та же старая, изъеденная береза наклонилось над ним. На одной из веток висел пожелтевший белый ботинок.

За спиной Плюши прошли две женщины, переговариваясь. Плюша на всякий случай приподнялась с пакета и поздоровалась. Женщины ответили на приветствие, поглядели на нее и пошли дальше.

Плюша осталась одна и слегка поглаживала пальцами пень. Тишина давила ее со всех сторон. Тишина с тяжелым звуком воды, точно кто-то больной, может, сама же Плюша в детстве, полоскал рядом горло раствором соли. Так сидела она долго.

В монастыре, куда ее довели уже в ранних сумерках, было еще тише.

Она ходила по первому в своей жизни монастырю и боялась что-то сделать не так и не туда пойти. В маленькой трапезной допустила первую ошибку: унесла себе на стол подносик для сдачи, решив, что это для булочки.

Большой храм был закрыт, служба шла в малом, в темноте, с большим числом свечей.

В монастыре прошли два тихих, холодных и радостных дня. Она понемногу осмелела и оглядела местность. Монастырь был на холме, повыше белели две изящные церкви. Барокко, определила Плюша и вспомнила голос Карла Семеновича, его комнату. Церкви стояли прекрасные и закрытые, чуть ниже темнел раздвоенный дуб. Плюша поискала под ним желуди, но на желуди был не сезон, и их не было.

Служба в тот день была в большом соборе. Сверху, с хоров, пели мужские голоса. Плюша долго заполняла записку за упокой. Натали, мамуся... Да, конечно,



иеромонах Фома, дописала его сверху. Потом стояла поближе к горящим свечам, так было теплее.

Обратно ехала на маршрутке. В салоне она вначале была одна и поставила сумку на пустое сиденье.

— Уберите, сейчас люди будут, — сказала ей молодой водитель в серой куртке.

Плюша быстро убрала сумку в ноги.

Маршрутка долго кружила по Слониму, собирая молчаливых людей. До этого у Плюши была мысль добраться до Гродно, но ей уже ничего не хотелось.

Снова были поля, деревья и бесцветное небо.

Для чего-то люди уходили отсюда, шли ночными лесами, переходили границу. От этой медленной, разлитой в воздухе печали, от красоты барочных церквей. Шли туда, где строили будущее, где пели военные песни и обогревали собой бескрайнюю Сибирь...

— Вылезайте! Всё! Приехали!

Плюша все еще сидит в маршрутке, все уже вышли, и водитель стоит на улице и смотрит на нее через дверь.

Плюша вышла, ощупала, ничего ли не забыла, и задумалась. Неужели она заснула? Это было не похоже на сон. Она помнила и как они въехали в Минск, и как подъезжали к вокзалу. И как все выходили, а она...

Это была, наверное, болезнь.

Такое уже случалось: вдруг точно впадала в ступор.словно кто-то тихо приказывал: «замри», и она не могла пошевелиться, а только дышала и глядела в одну точку.

Вернувшись из Белоруссии, она долго думала. Потом съездила в детский дом.

День был выбран неудачно, директора не было. И вообще, всё Плюша, как обычно, делала не так. Ей сказали собрать справки о своем здоровье.

Плюша заставила себя сходить в районную поликлинику. Зашла, поглядела на людей, на белые лампы и вышла обратно. Нет, справку ей не дадут. У нее обнаружат болезни, это определено. А раз не дадут справку, то не дадут и ребенка.

И еще много таких же мыслей вертелось в ее специально для поликлиники причесанной голове. Расцветки эти мысли были невеселой, цвета мокрого от дождя асфальта.

...Очнулась от них посреди перехода, на разделительной полосе. Мимо проносились машины. Хорошо, что хоть до середины дороги дошла.

Она стала еще реже выходить из дома. Выходя, поглядывала на соседских детей. Хотелось заговорить с ними, потрогать за курточки, но не могла найти слов, с которых начать. Наблюдала их молча, на отдалении. Иногда делала им замечания.

О ней все забыли. Только отец Игорь еще звонил иногда из своего Минска. Говорил ей в эти все более редкие звонки, чтобы не забывала церковь, диктовал телефон другого батюшки:

— Записываете?

Плюша записывала, но бумажка всё куда-то терялась.

И еще уговаривал переступить через себя и начать сбор справок:

— Не бойтесь, что таланта материнства у вас нет, только просите...

После таких разговоров Плюша сидела потная, взволнованная. Ей хотелось как-то дать знать отцу

Игорю о том, что происходит в ее внутреннем мире. Но не получалось.

Она уже не танцевала, закрывшись в комнате. Натянула один раз старые, пыльные балетки, повертела отекавшими ступнями, сняла и снова влезла в тапочки.

Даже голос Натали посещал ее реже. Иногда мимо коридорного зеркала пройдет, услышит какой-нибудь хриплый комплимент вроде: «Ну ты себе и щеки разъела, я тащусь!» Нет чтобы в практических вопросах что-то подсказать...

И о поле, о поле за домом тоже все забыли. Сняли и увезли остатки забора. И оно снова стояло мертвое, пустое и никому не нужное. Только птицы еще летали, Пяюша следила за их полетом из окна. И по вечерам стало казаться, что кто-то смотрит оттуда на нее — Пяюша задергивала занавески. Нет, она не боялась: это было хуже, чем страх.

«Пяюшенька, душенька, не ходи на поле...»

Был папуся, ушел папуся. Была мамуся, ушла мамуся. И Натали тоже, не ушла даже, а разлетелась, разнеслась и покрыла все невидимым тоненьким слоем. Приезжал из Польши сын ее Фаддей, продал квартиру, теперь там чужие люди. Надо учиться забывать и жить дальше.

Как сказано в книге, которую она иногда теперь на ночь читала: пусть мертвые погребают своих мертвецов. Пяюша прочла эту фразу три раза. Поискала карандаш, чтобы подчеркнуть, и не нашла: закатился куда-то.

Погасив свет в коридоре и на кухне и оставив зажженным только светильник, с которым всегда спала, Пяюша думала. Мертвые должны хоронить своих

мертвецов. А если не хоронят? Тогда мертвецы начинают хоронить живых. А живые делают вид, что ничего с ними не происходит. Ровным счетом ничего. Ерунда, временные трудности.

И на Задушки, в отличие от прошлогодних, никто не пришел.

Плюша одна вышла. Собрала все, что готовила годы, и вышла в сумерки.

А эти годы Плюша вязала детские шапочки.

Точных размеров она не знала, потому вязала на глаз. Но каждому свою. Самую красивую — отцу Фоме.

Плюша тихо вышла из подъезда, обошла пустые детские качели и пошла к полю. Качели продолжали скрипеть за спиной: дул ветер.

Поле светилось, на нем был тонкий слой снега, насыпавший с утра. Небо не темнело, а, скорее, краснело, как перед еще одним большим снегом, и ныло в затылке. Дойдя до нужного места, Плюша раскрыла сумку и начала раскладывать. Нагибалась и клала шапочки прямо на снег.

Адам Ковалевский... Василь Чернукович...

Может, отец Игорь был прав, и все это было язычеством, душным бабьим язычеством. И лучше было шапочки эти оставить там, в детдоме, чтобы в них бегали и веселились живые дети.

Нет, с отцом Игорем она на тему шапочек не говорила. Просто слышала в себе его голос, быстрый и убедительный. «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов», — доносился голос отца Игоря откуда-то из далекого Минска.

Хорошо, думала на это Плюша и ежилась. Кто, в конце концов, она теперь? Она была живой, пока была жива мамуся. Она была живой, пока жив был Карл Семенович и кормил ее булочками с корицей. Пока Геворкян брал ее за плечо, и что-то быстро говорил, и шел с ней под одним зонтом, толстый и мокрый. Пока ее, плачущую, обнимала и поглаживала по спине Натали. А теперь?

*Серце уставо, пьерж юж лодовата...*

Поэтому шапочки она тут положит. И еще вот тут. И погладит снег ладонью и скажет несколько теплых слов. А живым детям она еще свяжет и шапочки, и шарфы. Будет сидеть и целыми днями вязать, вязать, вязать... Вязать и вязать, живым детям.

— Помочь? Давай...

Плюша замерла. Не сразу узнала, выдохнула тяжело.

— Да так, прогуляться пришел, по старой памяти. А ты?

Плюша прижала к себе сумку. Она тоже. По старой. Памяти.

— Да ладно, давай помогу, — потянул сумку. Поднял со снега шапочку. Хорошая идея. А что никого не позвала? Перформанс для себя?

Ветер зашумел сильнее. Плюша спросила про «аптечные» деньги.

— Верну! — обиделся. Потом стал что-то быстро объяснять. Про какого-то своего друга и сворованную бас-гитару. От него снова тяжело пахло вином и еще чем-то гнилым.

Помог разложить ей остальные шапочки. Плюша не возражала: руки уже заледенели.

Шапочки темнели на снегу и шевелились от ветра. Он собрался провожать ее до дома. Плюша помотала головой.

Быстро обнял ее. Вдавил небритый подбородок ей в щеку.

— Холодно, — сказала Плюша. Потерла щеку, взяла пустую сумку и пошла домой.

Он шел рядом и просил денег. Плюша молчала и мерзла. Он трогал ее куртку, пытался заглянуть в глаза, потом больно схватил за руку: «Хоть пятьсот! Верну».

Плюша дала ему денег сколько было. Он быстро целовал ей пальцы. Потом снова сделал холодное лицо и ушел в пустоту.

«С трудом продолжаю эти записи. Сколько сомнений приносят с собой эти ветреные ночи. Верно, сам я себя на эти сомнения обрек, взяв себе святым своим покровителем сомневающегося Апостола. Так и мне: все нужно увидеть глазами, во все вложить персты, а лучше так и всю пятерню. Тогда только и верую...

Не оттого ли все известные, кто носил имя Фомы, проповедовали нечто сомнительное и революционное? Томмазо (Фома, стало быть) Кампанелла с его страшным “Городом Солнца”. Томас Мор с “Утопией”. Томас Мюнцер с его учением о построении Царства Божия на земле. Томас Гоббс с его “Левиафаном”...

А еще Фома Аквинский, а еще Фома Кемпийский... Вот сколько “Фом”, и все у католиков или протестантов, откуда сам я произрос: папенька — католик, маменька — лютеранка.

Не от имени ли во мне всё?

Пока учился в университете, пока вел медицинскую практику, сомневался, искал всё духовные основания. Не верил, что от одних только вирусов расцветают на срамных органах все эти язвы и гнилые уродства, и убеждался в том частной практикой. Умо-заклечениями дошел до того, что не в одной инфекции здесь дело... Что суд Божий тут действует: наглядно карая через самое орудие греха. “А сластолюбивая заживо умерла”. Вот и видел, как заживо они гнили и делались моими пациентами.

Дальше... стал читать Святых Отцов, стал верующим врачом и чтецом при госпитальной церкви. Потом революция, потом монашество. И что ж? Теперь, наоборот, в духовном повадился материальные основания искать. Везде, во всех общественных и умственных течениях, стали видеться мне симптомы болезней, хронических и запущенных недугов. Улицы наполнились для меня больными, точно кто-то распахнул широко ворота всех прежних больниц, фельдшерских пунктов и клиник и сорванным на митингах голосом крикнул: “Идите! Все здоровы!” И гнойная и лихорадочная толпа повалила, поползла, забила собою трамваи, кооперативы и совучреждения.

Помню, приезжал из Москвы N., однокашник по университету, а теперь преуспевающий сов. хирург. Рассказывал о вскрытии вождя, об исследовании его мозга. “Последствия, — шепчет, — недолеченного сифилиса...” Так я, признаться, и полагал. Оттуда эта темная, грозная гениальность этого человека, его бешеная деятельность, его недовольство всем и прежде всего Богом, Церковью: колокольный звон, говорят,

в ярость приводил его. Те же симптомы, что и у несчастного “антихриста” Ницше... “Не повезло России, — сказал я. — Покуражились над нею три сифилитика...” Поймав вопросительный взгляд N., пояснил: “Иван Грозный, Петр Великий и...” N. быстро поднес палец к губам и понимающе усмехнулся.

Усмешка эта, признаюсь, меня задела. Мой коллега понял меня с полуслова. Значит, я мыслю все еще как врач и вижу в истории одно бурление субстанций и материальных сил. Не умея подняться над этим, взглянуть духовными очами и увидеть... но что? Трубящего ангела? Звезду, падающую в источники вод?

Не вижу. И, боюсь, не поверю, пока не увижу. Пока персты дрожащие не вложу...

Святой апостол Фома, дай побороть сомнения, как и ты поборол их в себе!>

Плюшина квартира утопает в иллюминации. Дом спит, а Плюшенькино окошко светится. Поле спит, а Плюша... Не спит Плюша. Держит в руке листок с дневником отца Фомы, перечитывала только что. А теперь?

Теперь снова свою жизнь прокручивает. Интересно? Нет, неинтересно. Серая, незамечательная жизнь ей досталось. И чем дальше, панове мои, тем все незамечательнее.

После Задушек в ночь снег пошел, засыпало шапочки.

Оттаял снег: нет шапочек. Может, Евграф тогда собрал, продаст где-то, на выпивку. Может, кто-то еще позарился. А может... Все может. Поле и есть поле.

Прошел ноябрь.



Плюша, помолившись, стала собирать справки. Да, на усыновление. Представляла себе голос хриплый Натали, помогало. Медленно, не торопясь, носила в поликлинику баночки на анализы. А через дорогу просила, чтобы кто-то ее перевел. Люди откликались.

Прошел декабрь.

На поле гремели хлопотки, кто-то визжал «с-новым-годом!» Плюша вымыла голову, нарезала оливье. Измазанная майонезом салатница простояла в раковине несколько дней; в мыльной воде плавал зеленый горошек.

Прошел январь.

Плюша собрала все справки. Как ни странно, ее нашли, в общем, здоровой; она даже обиделась немного на это. Собрала все их и отвезла. И почувствовала, что все это бесполезно. По тому, как разговаривали с ней, как глядели на нее, на ее мелко дрожавшие руки. Ей обещали позвонить, но предупредили про очереди на детей.

Вначале Плюша ждала звонок, потом уже не так ждала, а потом поняла, что звонка не будет. И ничего не будет. Только вот это окно, а в нем пустое поле.

Она осунулась и почти не выходила из квартиры.

Только в магазин, «Магнит» местный, туда и обратно. Один раз там с ней приступ повторился: застыла у молочных продуктов. Полчаса, наверное, неподвижно глядела на сырки и йогурты.

— Женщина, вы не уснули?

Плюша почти выбежала из магазина, так ничего и не купив.

Подошел к концу и февраль.

События внешнего мира доходили до нее, но как через скорлупу и глухую вату. Случайно услышала, что в музее произошли какие-то изменения, что Аллу Леонидовну чуть было не уволили... Плюше это было неинтересно: это осталось там, в старой жизни. Или просто — в жизни. Потому что жизнь осталась там. А сейчас...

Только огромное поле в окне.

И еще комната: бывшая мамусина комната, закрытая по Плюшиному же хотению на замок. Соседа пригласила замок врезать, одного из немногих оставшихся мужчин в их доме.

В запертой комнате шла своя тихая жизнь. Что-то скрипело, что-то шуршало. Плюша просыпалась ночью и слушала комнату. Может, там завелись мыши? Мыши иногда поселяются и в многоэтажных домах, думала Плюша и непроизвольно сжимала ноги.

Под утро комната успокаивалась, засыпала и даже иногда, казалось, легонько посапывала.

Плюша прикладывала ухо к холодной, крашенной эмалью двери и слушала. Устав, садилась в кресло.

Да и что там есть, в этой комнате? Только старые вещи. Два крепких еще стула. Разве стулья — это страшно? Нет, стулья — это нестрашно. Еще этажерочка с прежней их квартиры, очень, кстати, удобная. Разве в этой этажерке скрыт какой-то ужас? Нет в этажерке никакого ужаса: деревянная вещь, и всё. Руками сделана.

Хорошо, а крышечки от пивных бутылок, которые в детстве собирала?

Это вообще смешно, что может быть страшного в пивных крышечках? А то, что мамуся ее в детстве за них наказывала и шлепала, так мало ли кого в детстве за что ругают и по голой попе воспитывают. Не со зла ведь мамуся ее шлепала, а от любви, пытаюсь заменить нерегулярного отца. Папусю, который то побудет, то исчезнет.

Что еще там? Желуди! Бусы из желудей, поделки разные из природных материалов. Их можно просто пропустить, даже не останавливаясь. Или все-таки остановимся на одной? На желуде, который подобрала уже студенткой на старой аллее возле института. Подобрала, оглянулась и спрятала в карман. И назвала его Евграфом, и долго не расставалась с ним. Гладила им себя по щеке, по шее, брала его с собой на ночь в постель. Целовала перед сном... Хорошо, к чему вспоминать? Главное, ничего страшного в этом желуде нет. Ни в нем, ни в каштане, который появится чуть позже. У каштана тоже, конечно, было имя. Карл... Правильно. Он самый.

Не было его. Желудь был, понравился ей, подняла. А каштана Карла Семеновича не было! Просто мысль была. А так — не было.

Хорошо, не было... А фотография его, крест-накрест воском закапанная? Что ж ее не выбросила, когда мамусины вещи после ухода ее перебирала? Повертела в руках — и на полочку. Потому что у самой рыльце в пушку, да?

Плюша мотает головой. Не выбросила, потому что... Потому что подумала... Потому что собиралась потом от воска отчистить и повесить. В рамоч-

ку. Уже даже присмотрела, красивую. А вовсе не потому.

А юбочка из тюля, в которой тайно танцевала? Движения, движения какие в ней делала... Или вдруг скакать в ней начинала: вверх-вниз, вверх-вниз. Кто бы увидел тебя, тихоню, за такими половецкими плясками... Главное, мысли какие при этом в голове скакали, картины какие прыгали!

Снова Плюша головой мотает. Ключ от комнаты берет и к двери идет. Как учила ее хмурая пани Катажина: «Возьми это в свою комнату!» Вот и сейчас, возьмет она, Плюша, себя саму в эту комнату, затеряется в ней ненужной вещью, вроде пыльной поделки из желудя или колдовских мамусиных свеч... Или в виде окаменевшего огрызка, который Плюша тоже когда-то не выбросила: то ли видом разжалобил, то ли в память о прежнем душистом яблоке сохранила... А потом придут соседи, взломают входную дверь, найдут этот огрызок и, недолго посокрушавшись, скинутся на ритуальные услуги.

Ковыряет Плюша ключиком дверь, открыть не может: тряска в руках. Ничего, сейчас откроет... Сейчас она откроет, слышите вы там?!

«И не к кому идти со своими сомнениями, душу взбаламученную успокоить: одних расстреляли, других сослали, третьи сами рясу скинули. Да и я вот чудом доаживаю на воле. За каждый лишний день под солнышком Бога благодарю.

Вспоминаю всё первый свой арест: тогда еще и владыка, и все на воле были, но уже начиналось...

На Покров было. Служили литургию в Покровской, архиерейским чином. Прибыли туда, а верующих никого, пустой храм. Настоятель, старичок протоиерей, трясется; дьячки разбежались, на клиросе пусто, ветер гуляет. Накануне вроде власти местные по избам прошли, всех “по-хорошему” предупредили. Кого-то из непонятливых, кто попытался к церкви пройти, утром уже забрали. Нас, однако, пропустили...

И вот топчемся в алтаре, на владыку глядим, а он, хмурый обычно, тут слегка даже улыбнулся: облачайтесь, мол, что стоите... Облачились. “Может, в город вернемся, — предлагаем. — Для кого служить, церковь пуста”. А владыка еще веселее стал. Посмеивается над нами, какие мы маловерные и нерадивые.

Дальше... Начали службу. Первый антифон, второй антифон. Прислушиваемся: может, скрипнет дверь, хоть кто войдет. Никого. Страшно в пустой церкви служить, ни одна свечка не горит, ни лица одного молящегося. Прочитали “Блаженны”. “Радуйтесь и веселитесь...” Пусто. Никого.

Перед Входными движение началось. Дверь хлопнула, сапоги затопали. Я в алтаре был, вижу, к владыке диакон наклоняется: “Владыка... Вам уйти бы. Ироды пожаловали”.

А владыка наш чуть в ладоши не хлопает: “Ироды! Радость-то какая... Отцы, радость! Ироды пожаловали!..” Мы даже, грешным делом, подумали, может, владыка наш того... от переживаний. А он все радуется: “Сейчас мы такую, такую литургию им отслужим!”

Так и было. Такой радостной службы больше и не вспомню. Особенно когда Царские врата распахнулись и мы из алтаря выходим и начинаем в голос: “При-и-дите, поклонимся и припадем...”

И такая радость у нас на лицах и в нестройных голосах!

И эти, шинели и кожанки, до конца смиренно достояли, не творя безобразий. Потом, правда, забрали нас всех. Мы после такой литургии в тюрьму как на именины ехали. Улыбками обмениваемся, взглядами.

Кого посадили, кого, как владыку, на Соловки. Все сгнули.

Только старичка протоиерея пожалели, просто совсем уж плохой был, не жилец. И еще меня, месяц промурьжив, отпустили. Повезло, можно сказать: следователь моим пациентом оказался. И начальник ГубЧК тоже. Пользовал их по всем правилам. Стонали они у меня, зубами скрежетали. Но излечились, ироды.

Потом еще два ареста было. Высылка, возвращение.

Сейчас, кажется, к последнему аресту дело идет. Намолюсь на ночь, лягу, а сна нет. Ворочаюсь и ожидаю. Встану, воды из ведра кружкой зачерпну, опять лягу. Лампу зажгу, почитаю. Такие вот ночные развлечения.

[Последние строчки написаны быстро, химическим карандашом.]

Ну вот, кажется, дождался. 2.30. Фары и звук машины. Затихло. Дописать! Звуки шагов за окном. В окно голова лезет. Точно ко мне, уже и дверь дергают. “Ироды пожаловали!” В руце Твои...»

«Крест был тяжелый, такой и взрослому тяжело бы нести. Дети толкались, наступали друг другу на ноги, страшно шумели.

Он шел посреди толпы, волоча крест; нижний конец креста скреб по земле и подпрыгивал на бульжниках.

Прощаясь с ним пару часов назад, Понтий взял его за руку: “Я бы отпустил тебя, но, понимаешь, взрослые... И моя власть...” Ладонь была потной, а из мягкого рта Понтия пахло чем-то сладким, что он недавно поел на десерт.

Дети шли смотреть казнь. Многие были уверены, что никакой казни не будет, что произойдет чудо. Да, конечно, произойдет чудо, он ведь уже столько их сотворил. Какое? Это будет сюрприз. Например, крест, когда его установят, пустит ветви и превратится в маслину. Или в цветущую яблоню. А венок, страшный венок из колючек, надвинутый почти на самые глаза, окажется из роз. И без колючек, из одних цветов и листьев.

Поглазеть на это чудо и собралась вся эта детвора. Одни шли следом, другие уже поджидали на Лобном месте, в слабой тени от оливковых деревьев, обмахиваясь кто чем. Между сидевшими ходили торговцы сладостями и расхваливали свой товар. “Сладости, напитки”, — кричали они. Некоторые дети даже пришли с родителями или с нянями, но таких было немного.

Апостолов не было. Апостолы все утро совещались. Они тоже верили, что случится чудо. Только Фома сидел мрачным и мотал на это головой. Петра не было, ждали Петра. Кто-то сказал, что Петр

стоит неподалеку, у платана. Послали за ним, он отказывался войти к апостолам, потом вошел и повалился на землю. Говорил что-то о петухе, его напоили водой, помогли подняться, он еще долго всхлипывал.

Ближе к полудню пришли Мария и девочки. Было решено, что с Марией пойдет Иоанн. Иоанн тут же вскочил, почтительно взял ее за руку. “Будь осторожен”, — крикнул вслед ему Филипп. Петр же промолчал. Он вообще почти все время молчал.

Розыски Иуды ничего не дали. Обсудив, приговорили его к смерти. Кто-то предлагал вначале выслушать, что скажет. Кто-то, кажется, Андрей, предложил дожждаться возвращения Иисуса: он все еще верил. Фома, услышав, снова покачал головой и не по-детски вздохнул.

В это время крест уже положили на землю. Было видно, как побледнело лицо Иисуса, как сжались губы. Рядом поднимали два других креста, с настоящими хулиганами, грозой иерусалимских пустырей и закоулков. Им уже вбили гвозди, один извивался, брызгал слюной и кричал.

Дети начали выражать недовольство, что чудо так долго не происходит. Чудо, ради которого они оставили свои дела и игры и должны тут стоять под солнцем. Кто-то даже стал стрелять в кресты из рогатки. Заволновались и родители. Может, он просто забыл, что должен совершить чудо?

“Чудо... Чудо...” — подсказывали со всех сторон голоса.

“Ты же других спасал, спаси сам себя... ну что тебе стоит!”



Иисус молчал. Его стали раздевать; девочки из толпы потупили глаза. Одежда его была хорошей: не богатой, но ладной. В таком хитоне можно и на рынок сбегать, и в школу явиться. Какое-то время все были заняты этим хитоном и его обсуждением, потом снова стали глядеть на крест, боясь пропустить самое интересное.

“Небо темнеет!.. Началось!” — крикнул кто-то, все поглядели на небо. Одни согласились, что небо и правда потемнело. Другие на это только смеялись... “Где темнота? — кричали они. — Где темнота?!”

Тем временем мальчик-палач начал забивать гвозди. Один он держал во рту, а другие забивал, ударяя молотом.

Услышав первые сдавленные стоны и почувствовав, что чуда не будет, а будет что-то тяжелое и неприятное, толпа стала расходиться. Ушли, неся под мышками свои тряпичные куклы, девочки. Некоторые из детей остались: им хотелось посмотреть на смерть, и они жадно глядели, как маленькое тело на кресте вздрагивало с каждым новым ударом. И стреляли из рогаток, пока кто-то из взрослых не сделал замечание и не отнял одну, но и после этого еще пару раз стреляли.

День клонился к вечеру, все было закончено. Три креста торчали на холме, и большие тяжелые птицы кружили над ними. Апостолы сидели в мутной задумчивости. Пришел Матфий и сказал, что Иуда повесился; эта новость не произвела никакого действия. Посвежело, застрекотали сверчки. Послышался плач, это возвращались с Голгофы девочки и вели Марию, она одна шла молча. Следом пришел Иоанн

с корзиной хлебов. К ним не притронулись; только Фома взял один хлебец, повертел и положил обратно.

“Как ты думаешь, почему он не научил нас, что мы должны были делать?..” — повернулся он к Андрею. Но Андрей не ответил. Уткнувшись лицом в колени, Андрей спал».

Тело Плюши лежит в неудобной позе перед дверью. Халат сбился, толстые ноги в теплых колготках: одна согнута, другая неестественно вытянута. Голова закинута назад, к подбородку прилип какой-то мусор.

Дверь в бывшую мамусину комнату полуоткрыта, в двери торчит ключ. В комнате уже светло; солнце встало, поднялось и теперь неторопливо и подробно освещает разные вещи, хранящиеся здесь. На всех светится тонкий слой пыли.

На кухне тоже светло от солнца и горит бесполезный свет.

«Вставай, мать... Чё тут развалилась, давай, живее, шевели булками!»

Плюша распахивает глаза и тяжело оглядывается.

Подбирает под себя вторую ногу, хватается за дверной косяк, пытается встать.

Над головой звенит телефон. Звенит негромко, но Плюша все равно вздрагивает: отвыкла от звонков.

Прижимает трубку, пытается понять, это получается не сразу, она что-то мямлит, нащупывает на тумбе ручку, записывает.

— Да... Да... Поняла...

Кладет трубку и прижимается спиной к стене. Звонили из опеки. Для нее есть ребенок. Да, девочка. Имя Наталья. Наташенька.

— Натали, — говорит Плюша и щурится от солнца из мамусиной комнаты.

Резко входит в нее, так, что в лучах начинают плясать тысячи пылинок. И застывает у окна.

Посреди поля медленно поднимается крест. Вокруг копошатся какие-то люди.

— Да что ж это такое...

Плюша судорожно одевается, прямо поверх халата застегивая пальто, лезет ногами в сапоги, шапочку натягивает уже на лестнице.

Быстро и шумно спускается, выбегает из подъезда.

На секунду останавливается, оглушенная новым, каким-то синим воздухом с запахами земли и мокрого дерева.

Очнувшись, снова бежит, стараясь не поскользнуться на подтаявшем снегу.

Возле поля стоят микроавтобусы. Они пусты. Плюша бежит дальше.

Крест уже подняли — большой, выкрашенный веселой красной краской. Плюша останавливается переvestи дух.

— Наши, как всегда, позолоченный хотели... Но и так вроде неплохо! — слышит Плюша неожиданный голос сбоку.

Повернувшись, видит отца Игоря, и еще нескольких знакомых прихожан, и пару незнакомых, и соседей.

— Нет, пока просто в гости приехал... — благословив, отец Игорь чинно берет ее за локоть. — Да, сюрпризом вам хотел. Ну, что с вами, Ева?

Глаза у него смеются. И борода, не только губы, вся борода улыбается.

— Ничего, — говорит Плюша. И обнимается с остальными. Смущается того, что не успела умыться и почистить зубы... И тут же забывает об этом, заметив у креста еще одну знакомую фигуру.

— Да, договорились вот все-таки... Пан Гржегор, идите сюда, а то мне не верят!

Ксендз неторопливо приближается.

— Вот там, — показывает Плюше отец Игорь, — будет стоять наша часовня. А вот в том конце — их...

— А это можно? — спрашивает Плюша.

— А почему нельзя? Поле вон какое широкое! В Иерусалиме, в Храме Гроба Господня, ничего, рядом служим и здесь не подеремся... Правда, пан Гржегор?

— Чешць, — приветствует Плюшу ксендз. — ...А между часовнями посадим сад — как «нейтральная территория», — улыбается.

— Ну, это когда теплее будет, — уточняет отец Игорь. — Тогда мы и детей сюда привезем. Конкурс рисунков на асфальте устроим... Помните?

И подмигивает Плюше. Плюша быстро кивает.

— Главное, разрешение на раскопки получили. Ваша директриса, кстати, помогла... Хоть и против своей воли, а пробила-таки. Ну, она, правда, уже не директриса... Не в курсе? Вон же из музея вашего молодежь, они вам сейчас расскажут и звать вас обратно хотят. Да, главное, будут раскопки, это ж какое дело... Знал бы Ричард Георгиевич, порадовался.

Плюша мотает головой:

## Сухбат АФЛАТУНИ

— Он уже радуется. И Натали радуется... Я ведь знаю. И мы... — не справившись с речью, подскакивает на месте и начинает кружиться.

— Танцуем! — звонко кричит она и машет руками.

— Танцуем!

Кто-то из молодых тоже начинает танцевать рядом, другие просто удивленно поглядывают и хлопают в ладоши. А Плюша все кружится, поднимает руки и подпрыгивает, и поле, огромное поле в ее глазах кружится, и подпрыгивает, и уносится куда-то вместе со всеми людьми, кустами и птицами.

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Литературно-художественное издание

**Афлатуни Сухбат**

**РАЙ ЗЕМНОЙ**

Ответственный редактор *Ю. Селиванова*

Младший редактор *И. Кузнецова*

Художественный редактор *А. Дурасов*

Технический редактор *И. Гришина*

Компьютерная верстка *В. Никитина*

Корректор *Е. Захарова*

**ООО «Издательство «Эксмо»**

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)

Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru).

Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин: [www.book24.ru](http://www.book24.ru)

Интернет-дүкен: [www.book24.kz](http://www.book24.kz)

Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию,

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибутор және өнім бойынша арыз-талаптарды

қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,

Алматы қ., Домбровский қыш., 3-а, литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: [RDC-Almaty@eksmo.kz](mailto:RDC-Almaty@eksmo.kz)

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта: [www.eksmo.ru/certification](http://www.eksmo.ru/certification)

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»

[www.eksmo.ru/certification](http://www.eksmo.ru/certification)

Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 29.01.2019. Формат 84x108<sup>1/32</sup>.  
Гарнитура «Алто Pro». Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8.  
Тираж 2000 экз. Заказ 1979.



Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».

143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

[www.oaoimk.ru](http://www.oaoimk.ru), [www.oaoimk.pf](http://www.oaoimk.pf) тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

16+

**ЛитРес:**  
один клик до книги



Оттывая торговля книгами «Эксмо»  
ООО «ТД «Эксмо», 123308, г. Москва, ул. Зорге, д.1, многоканальный тел.: 411-50-74.  
E-mail: [rescription@eksmo-sale.ru](mailto:rescription@eksmo-sale.ru)

По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми  
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»  
E-mail: [international@eksmo-sale.ru](mailto:international@eksmo-sale.ru)

*International Sales: International wholesale customers should contact  
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.  
international@eksmo-sale.ru*

По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном  
оформлении, обращаться по тел.: +7 (495) 411-68-59, доб. 2261.  
E-mail: [korpora@eksmo.ru](mailto:korpora@eksmo.ru)

Оттывая торговля бумажно-беловыми  
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:  
Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,  
Блаженнов ш., д. 1, в/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).  
e-mail: [kanco@eksmo-sale.ru](mailto:kanco@eksmo-sale.ru), сайт: [www.kanc-eksmo.ru](http://www.kanc-eksmo.ru)

В Санкт-Петербурге: в магазине «Парк Культуры и Чтения БУКВОЕД», Невский пр-т, д. 46.  
Тел.: +7 (812) 601-0-601, [www.bookvoed.ru](http://www.bookvoed.ru)

*Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:*  
Москва. ООО «Торговый Дом «Эксмо». Адрес: 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 1.

Новый Новгород, Филиал «Торгового Дома «Эксмо» в Нижнем Новгороде. Адрес: 603094,  
г. Нижний Новгород, ул. Карпинского, д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза».  
Телефон: +7 (831) 216-15-91 (92, 93, 94) E-mail: [rescription@eksmo.ru](mailto:rescription@eksmo.ru)

Санкт-Петербург. ООО «СЗКО». Адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны,  
д. 84, лит. «Е». Телефон: +7 (812) 365-46-03 / 04. E-mail: [server@szko.ru](mailto:server@szko.ru)

Екатеринбург. Филиал ООО «Издательство Эксмо» в г. Екатеринбург. Адрес: 620024,  
г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 2а. Телефон: +7 (343) 272-72-01 (02/03/04/05/06/08).  
E-mail: [retrovv.ee@ekat.eksmo.ru](mailto:retrovv.ee@ekat.eksmo.ru)

Самара, Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Самара.  
Адрес: 443052, г. Самара, пр-т Кирова, д. 75/1, лит. «Е».  
Телефон: +7 (846) 207-55-50. E-mail: [RDC-samara@mail.ru](mailto:RDC-samara@mail.ru)

Ростов-на-Дону, Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Ростов-на-Дону. Адрес: 344023,  
г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, д. 44 А. Телефон: +7 (863) 303-62-10. E-mail: [info@rmd.eksmo.ru](mailto:info@rmd.eksmo.ru)  
Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Ростов-на-Дону. Адрес: 344023,  
г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, д. 44 В. Телефон: (863) 303-62-10.

Режим работы: с 9-00 до 19-00. E-mail: [rostov.mag@rmd.eksmo.ru](mailto:rostov.mag@rmd.eksmo.ru)

Новосибирск, Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Новосибирске. Адрес: 630015,  
г. Новосибирск, Комбинатской пер., д. 3. Телефон: +7 (383) 289-91-42. E-mail: [eksmo-nsk@yandex.ru](mailto:eksmo-nsk@yandex.ru)

Хабаровск, Обособленное подразделение в г. Хабаровске. Адрес: 680000, г. Хабаровск,  
пер. Дзержинского, д. 24, литера Б, офис 1. Телефон: +7 (4212) 910-120. E-mail: [eksmo-khv@mail.ru](mailto:eksmo-khv@mail.ru)

Тюмень, Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Тюмени.  
Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Тюмени.  
Адрес: 625022, г. Тюмень, ул. Алябьевская, д. 9А (ТЦ Перестройка\*).

Телефон: +7 (3452) 21-53-96/ 97/ 98. E-mail: [eksmo-tumen@mail.ru](mailto:eksmo-tumen@mail.ru)

Краснодар, ООО «Издательство «Эксмо» Обособленное подразделение в г. Краснодаре

Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Краснодаре

Адрес: 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7, лит. «Г». Телефон: (861) 234-43-01(02).

Республика Беларусь, ООО «ЭКСМО АСТ Си энд Си». Центр оптово-розничных продаж

Cash&Carry в г. Минск. Адрес: 220014, Республика Беларусь, г. Минск,

пр-т Жукова, д. 44, пом. 1-17, ТЦ «Outleto». Телефон: +375 17 251-40-23; +375 44 581-81-92.

Режим работы: с 10-00 до 22-00. E-mail: [eksmoast@yandex.by](mailto:eksmoast@yandex.by)

Казахстан, РДЦ Алматы. Адрес: 050039, г. Алматы, ул. Домбровский, д. 3 «А».

Телефон: +7 (727) 251-59-90 (91, 92). E-mail: [RDC-Almaty@eksmo.kz](mailto:RDC-Almaty@eksmo.kz)

Интернет-магазин: [www.book24.kz](http://www.book24.kz)

Украина, ООО «Форс Украина». Адрес: 04073 г. Киев, ул. Вербова, д. 17а.

Телефон: +38 (044) 290-99-44. E-mail: [sales@forukraine.com](mailto:sales@forukraine.com)

Полный ассортимент продукции Издательства «Эксмо» можно приобрести в местных  
магазинах «Читай-город» и заказать в интернет-магазине [www.chитай-gorod.ru](http://www.chитай-gorod.ru).  
Телефон единой справочной службы: 8 (800) 444 8 444. Звонок по России бесплатный.

Интернет-магазин ООО «Издательство «Эксмо»  
[www.book24.ru](http://www.book24.ru)

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.  
Тел.: +7 (495) 745-69-14. E-mail: [market@eksmo-sale.ru](mailto:market@eksmo-sale.ru)

ISBN 978-5-04-100552-8



9 785041 005528 >



EKSMO.RU  
НОВЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**Лауреат Русской премии, лонг-лист премии  
«Большая книга» и лауреат премии «Триумф».**

Сухбат Афлатуни – известный среднеазиатский прозаик и философ. Живет в Ташкенте, преподает в Ташкентской Православной Духовной семинарии философию и логику, а также древнегреческий и латинский языки.

В фокусе его внимания – душа современного человека, ищущая свое отражение в истории и не забывающая про страсти и соблазны настоящего. Герои – творческие люди, существующие на грани реальности и сказки.

**Хорошие русские писатели  
еще не перевелись!**

**Елена Макеенко**

**«Горький»**

**Узнаваемый стиль большой  
русской прозы.**

**Сергей Шулаков**

**«Год литературы»**

**Удовольствие запредельное буквально  
от каждой строчки. Местами просто  
дух захватывает!**

**«LiveLib»**



ISBN 978-5-04-100552-8



9 785041 005528 >